

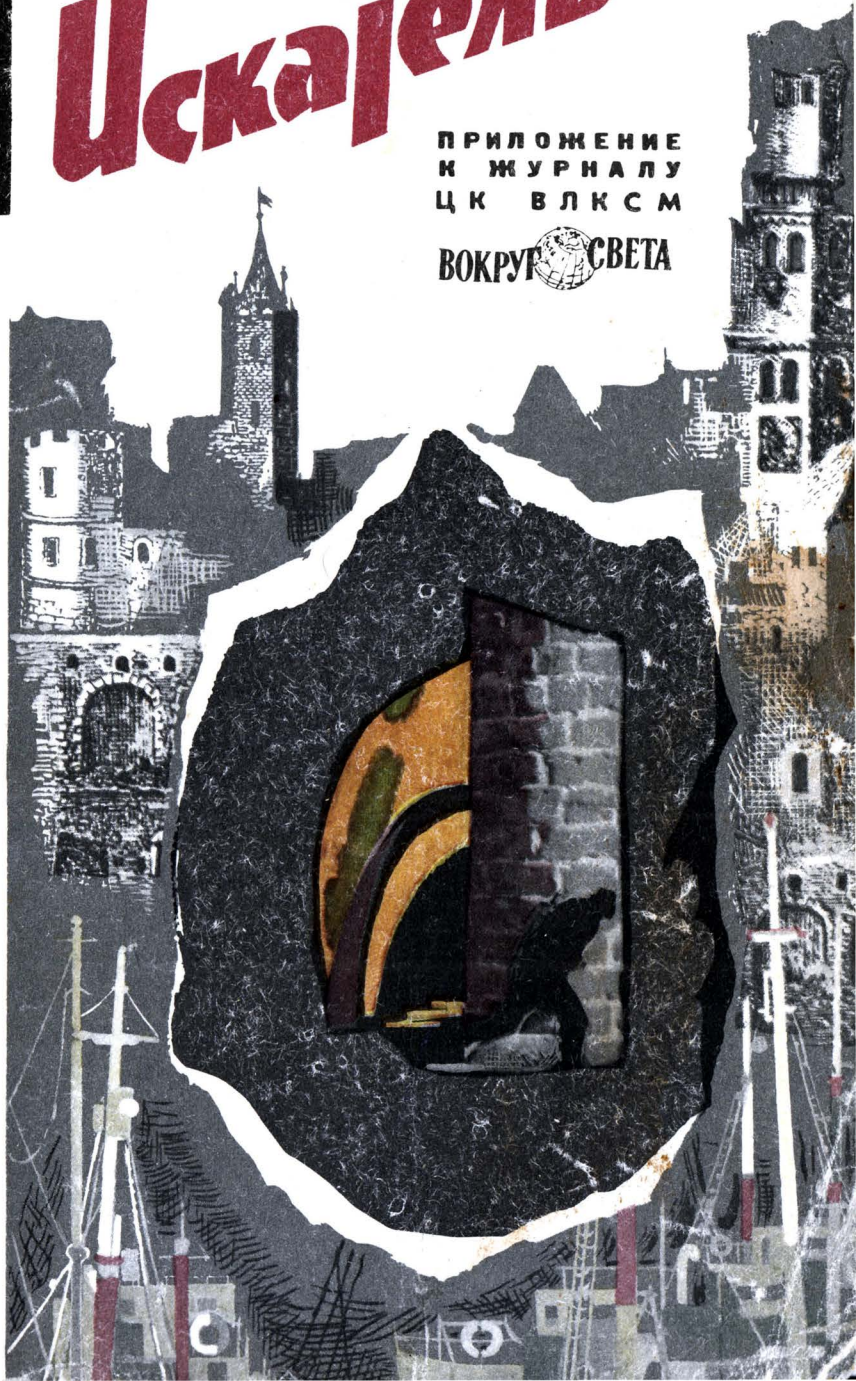
4
1967

Искатель

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ







ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЖУРНАЛУ
ЦК ВЛКСМ

ВОКРУГ  СВЕТА

ФАНТАСТИКА • ПРИКЛЮЧЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ :

Виктор СМИРНОВ — Прерванный рейс	2
М. ЕМЦЕВ, Е. ПАРНОВ — Три кварка	71
Н. НИКОЛАЕВ — И никакой день не- дели	80
Николай КОРОТЕЕВ — Золотая «Сла- ва»	92
Г. ГУРЕВИЧ — Восьминулетию . . .	118
Стив ХАЛЛ — Круглый бильярдный стол	142
М. ЗУЕВ-ОРДЫНЕЦ — Колокольный омут	151

№ **4** (40)

1967
СЕДЬМОЙ
ГОД
ИЗДАНИЯ



ВИКТОР СМИРНОВ

п р е р в а н н ы й Р Е Й С

Приключенческая повесть

1

- **А** кортэ, акортэ! — кричал человек в шляпе. Он стоял у самого обрыва и смотрел на корабли, сгрудившиеся у причалов. Ветер лохматил его рыжую бороду. Это была великолепная борода, сам огненный Лейф Эриксон позавидовал бы такой.

Смеркалось, на судах вспыхивали огни. С высоты Садовой горки хорошо были видны город и порт. Улицы, выгнув спины, сбегали к темной воде и смыкались с ней.

— Акортэ!

Глаза у викинга были с сумасшедшинкой, с диким, пронизывающим взглядом. Может быть, он и впрямь был Лейфом Эриксоном? Только человек с такими глазами мог открыть Америку, когда она никому не была нужна, за пять веков до Колумба.



Рисунки Ю. КОПЕЙКО

Двое стариков, игравших в шахматы на садовой скамье, оторвались от доски. Это были морские волки на пенсии, все повидавшие и ко всему привычные, похожие друг на друга, как близнецы: так обтесал их ветер.

— Чувствует, — сказал один из них.

— Кто это? — спросил я, показывая на рыжебородого.

— А Славочка Окс, — ответил тот, что играл белыми. — С Каштанового переуллка, — добавил он и снял черную ладью. В глубине парка вздохнул духовой оркестр.

— А что значит «акортэ»?

— «Акортэ»? Для нас ничего не значит. А что оно значит для него, никто не знает. Может, больше, чем все наши слова.

— Он поврежденный, Славочка, — пояснил второй старик. —

Голову повредил у Ньюфаундленда. Шторм был сильный. Он приходит сюда, когда возвращаются суда из океана.

— Чувствует, — буркнул первый. — Волнуется.

— А ты не волнуешься? — спросил партнер.

В порт входили китобойцы, такие маленькие рядом с океанскими сухогрузами. Носы кораблей были горделиво задраны, там, на высоких площадках, торчали гарпунные пушки, а у пушек стояли гарпунеры.

Передняя пушка блеснула белым и розовым, и глухой удар долетел на Садовую горку. Китобойцы салютовали. Бух-бам!

— Акорте! — закричал Славочка и сорвал с головы шляпу.

Шахматные старики встали и замерли. На меня они больше не обращали внимания.

Я был сухопутным сибиряком в мире клешей и золотистых шевронов, я понимал, что этот город достоин уважения и любви, и я хотел любить его, но еще не мог.

Я медленно пошел вниз по улице адмирала Крузенштерна, вниз к заливу... Гранитная лестница со стертymi ступеньками, фонтан с амурчиками, еще ниже, после блочных домов площадь, где стоял памятник князю Мирославу, величавому и немного грустному человеку в шишаке. Князь Мирослав, прорубившись сквозь лесную чащобу к Балтийскому морю, сумел заложить город, но не смог отстоять его от ордена.

Пришельцев вышибли другие князья, но орден, меняя обличье, меняя гербы, штандарты, геральдические знаки, выпушки, петлички, много раз приходил сюда. Жег наше, строил свое.

За мостом, у Памятника гвардейцам, трепетал язычок вечно-го огня, а дальше, заслоняя залив, темнела громада форта, выстроенного во время очередного нашествия, — до сих пор за ним сохранилось нелепое наименование «кайзеровского». У каменных разбитых стен плескалась вода, покрытая ряской, а зубчатые башни нависали над улицей как мифические чудища. Из выбоин тянулись тонкие, белые стволы березок. Они словно брали приступом отвесные стены.

Потом передо мной открылся порт. У причалов покачивались и скрипели суда. Пахло рыбой, мазутом, сырой древесиной. Мигали круглые глазки иллюминаторов. Ветер дышал близким морем. Из тонких камбузных труб сочился дымок, кое-где над палубами трепыхалось белое. Это был мир уютного кочевья.

А хорошо бы и в самом деле быть матросом, подумал я. Не липовым матросом, который только играет роль, а настоящим, и жить в этом мире и больше нигде. Драить палубу, грузить целлюлозу, стоять вахту. Славно, спокойно...

«Онега», моя «Онега», стояла, как обычно, у восьмого причала, вдали от прожекторной башни, в сумрачном портовом уголке. Белый борт смутно отражал далекие огни.

Скоро мне предстояло расстаться со своим временным, плавающим домом. Довольно скромное задание, которое я выполнял, подходило к концу.

Никто не мог предугадать в эту минуту, что тихий вечер обернется трагедией. Чуть позже мне пришлось восстанавливать в памяти все события, предшествовавшие неожиданной развяз-

ке, но то — позже, а в эту минуту я подходил к «Онеге» уже ставшим привычным маршрутом. Откуда мне было знать о резиденте Лишайникове и его связном по кличке «Сильвер», классном разведчике, который изучил искусство перевоплощения так же хорошо, как и скорострельный «карманный» автомат типа «стэн»...

Был тихий, уютный вечер, горели огни, девчонки стекались к парку, китобойные суда возвращались из гремящего океана, пенсионеры играли в шахматы, а на выщербленной стене «кайзеровского» форта трепетали березки...

Десять дней назад, в жаркий полдень, я впервые пришел на пирс, где стояла «Онега», чтобы начать новую, матросскую жизнь.

«Онега» оказалась маленьким теплоходом, вовсе не предназначенным для романтических поединков с морской стихией. Это судно принадлежало к «озерному типу» и совершало плавания в Западную Европу частью по каналам и рекам, частью — в тихую походу по заливу.

Первым человеком, которого я встретил в тот день на теплоходе, был Валера Петровский.. На носу судна, свесив голые ноги, сидел здоровенный матрос в тельняшке, джинсах и еще в очках с толстыми цилиндрическими стеклами.

Парень читал книгу. Я прошел под гигантскими, огрубевшими подошвами его босых ног и прочитал название книги: «Богословско-политический трактат», Бенедикт Спиноза. «Если матрос занят Спинозой, что же тогда читает капитан? — подумал я. — Может, это образцово-показательное судно, борющееся за звание самого начитанного?»

— Привет! — сказал я.

Он отставил книгу и улыбнулся. У него была хорошая улыбка. Даже два увеличительных стекла, сквозь которые глядели на меня неестественно крупные зрачки, не могли испортить первого впечатления.

— Интересная книга?

— Мм, — ответил он. — Трудно дается. Уровень образования не позволяет дойти до всего.

— А я к вам назначен. Матросом

Парень соскочил с борта, плотно приземлившись на бетон. Его крепкая, спортивная фигура странным образом не вязалась с крупнокалиберными очками, которые уместнее были бы на носу архивариуса, потерявшего зрение в книжных закоулках. Лицо матроса в мелких-мелких точечках пересекали два светлых шрама — следы пластической операции.

Парень перехватил мой взгляд и тут же, чтобы избавить себя от расспросов в будущем, пояснил:

— Гранату немецкую разряжал В детстве. Осталось кое-что.. — И протянул широкую увесистую ладонь — Валера Петровский.

— А я Павел Чернов.

Мы поднялись по узкому дощатому трапу, который елозил от беспрестанной качки и грозил вот-вот сорваться с борта «Надо привыкать и к морской жизни, — подумал я. — Майор Комолов,

мой иркутский начальник, говорил: «Человек из угрозыска должен знать все плюс единица». Что ж...»

— Осторожнее! — предупредил Валера, и в ту же секунду я стукнулся лбом о металлический выступ. Конечно, это было только начало новой науки. Всего лишь гонг.

Мы прошли на корму, где были жилая надстройка и капитанская рубка. Петровский толкнул дверь с табличкой «Матросы». Каюта была чистенькая, похожая на купе в добротном спальном вагоне. много полированного дерева и никеля. Две койки — одна над другой — были убраны в стену.

— Здесь и будешь, со мной.

— Команда большая? — спросил я.

— Да нет! Вот с этой стороны, — Валера показал на стенку, — Маврухин и Прошкус, матросы Прошкуса мы «боцманом» зовем. Очень старательный. А с этой — каюта механика Ложко. Дальше помех Крученых. Над нами — Кэп, Иван Захарович то есть. Матрос еще в носовом трюме кубрика, Ленчик. И вся команда!

«Маврухин», — повторил я про себя. Маврухин справа от нас, за стенкой. Тот самый, о котором говорил Шиковец. Провоз нейлоновых рубашек. Конечно, угрозыск не должен был бы заниматься делами о контрабандном нейлоне, но Маврухин был связан с двумя уголовными типами, которые помогали ему распродавать товар. Эти типы интересовали капитана милиции Шиковца больше, чем сам Маврухин.

— Сначала трудно придется, — сказал Валера. Его добродушный рот был расгнут в улыбке, очки сняли. — Мне тоже пришлось трудно. Вообще не брали из-за очков. До министра дошел, побился.

— Ты, наверно, из тех, кто не унывает.

— Всегда в тяжелые минуты вспоминаю одно изречение, — сказал матрос. — Что является причиной нашей печали? Ведь не само обстоятельство, а только наше представление о нем! Да? А изменить представление — в нашей власти!

— Кто это сказал? — спросил я.

— Марк Аврелий, — ответил Валера. — Вообще интереснейшая личность. Император, кстати. Но умный.

— Ты любишь серьезные книги?

— Да нет, — ответил он, немного смутившись. — Просто решил повышать свое образование именно таким образом. Читанием философов. Все выдающиеся изречения стараюсь осмыслить. У меня специальная тетрадь.

— И так все свободное время? А гости на «Онеге» бывают?

— Да не особенно.. Правда, Карен с Машуткой приходят часто. Их три сестры — старшая, Ирина, замужем за Кэпом. Они цыганки. Кочевали с табором. А теперь... Ирина — врач, плавает на «базе». Машутка очень славная.

Валера неожиданно помрачнел.

— Ну ладно, отдыхай, скоро придет Кэп, — и он уткнулся в книгу.

— Смотри не переусердствуй с философами. Сказано ведь: не будьте более мудрыми, чем следует, но будьте мудрыми в меру.

— Кто это сказал? — торопливо спросил Валера и достал блокнот в коленкоровой обложке.

— Апостол Павел. Мой тезка.

— Я запишу Этого Павла в нашей библиотеке не достать...

Так началась моя матросская жизнь. С тех пор прошло десять дней ..

2

Был вечер, горели огни, и белый борт теплохода слегка покачивался на поднятой буксиром волне. В рубке «Онеги» торчала круглая голова Ленчика — он сегодня был вахтенным и коротал скучные часы на мягком кожаном диване. Из капитанской каюты долетали девичьи голоса. Карен и Машутка снова пришли в гости к Ивану Захаровичу, Кэпу. Все не родственные чувства привели сегодня сестер на «Онегу». Машутка была влюблена в механика Васю Ложко, вот она и взяла Карен в качестве прикрытия. Последние дни Машутка и Вася были в ссоре.

Я уже подошел к каюте, когда услышал дробный стук каблучков по железной палубе.

— Подождите, — сказала Карен.

Она присела на леер, словно на качели. Карен была ловкой — худощавой, подвижной и гибкой, и каждое движение выдавало в ней цыганку.

— Машутка притворяется, что ей безразлично, — сказала она. — Но все-таки почему этот Ложко разыгрывает Чайльд-Гарольда?

— Он не Чайльд-Гарольд, — ответил я. — А просто современный паренек и обожает джаз или делает вид, что обожает.

Из каюты механика доносились резкие синкопы, изредка перемежаемые кашлем. Ложко в гордом одиночестве вертел настройку своего приемника. Он тоже старался показать, что его не интересует Машутка.

На каком-то буксире зажгли прожектор, и дальний луч вдруг мягко осветил лицо Карен — ее тонкий, с небольшой горбинкой нос и темные с настойчивым блеском глаза. Легкий, нежный запах духов «Изумруд» пробивался сквозь нефтяные испарения.

— Уж эти мне влюбленные! — сказала Карен. — То целуются, то ссорятся. Ух, этот мне механик! Ненавижу просто.

— Давайте утопим Васю, — предложил я.

Она вздрогнула и скрестила руки, обхватив худенькие плечи и как бы запахивая несуществующую шаль. За элеватором загудела сирена. Звук был, как всегда, неприятный.

— Не надо так шутить, — сказала Карен. — У меня плохие предчувствия.

— Какие предчувствия?

— Не знаю. Только я чего-то боюсь.

Над фортом взлетела ракета — приветствовали китобойцев.

Я увидел на миг зубчатые башни и над ними зеленые легкие дымки берез.

— Ну вас! — сказала вдруг Карен. — У Кэпа хоть есть гитара. Пойдемте?

— Не могу.

— Скучный вы народ.

— Позвать механика?

— Не надо. Пусть сами разбираются.

Она легко взбежала наверх — только ветром пахло. Зазвучала гитара. «Три сестры, три цыганки, чудно! — Я улыбнулся темноте. — Три сестры, как дикий росток в лесу».

Валера Петровский был окружен темными пластмассовыми бачками. В каюте гудел вентилятор, играя кинопленками.

— Готово, — сказал Валера. — Фильм — люкс.

Он принялся закладывать пленку в маленький кинопроектор. Мне давно уже хотелось посмотреть этот фильм, снятый Валерой во время последней «загранки», точнее, хотелось посмотреть на Маврухина.

Пока Валера налаживал фокус, я прислушивался к звукам, доносившимся из-за тонких перегородок. Вернулся ли из города Маврухин?

Наверху застучали каблучки. Наверно, Карен отплясывала, как раз над головой Васи Ложко. Но механик продолжал демонстративно носиться по эфиму.

Переборка была настолько звукопроницаемой, что казалось, будто приемник находится рядом с моим ухом. Кто-то постучал в каюту механика, и Вася, покашливая, недовольно сказал: «Я занят». Месть поссорившихся влюбленных принимает иной раз самые нелепые формы.

— Начинаем, — сказал Валера. — Первая серия «Странствий «Онеги», оператор Петровский.

На экранчике показался надвигающийся, украшенный белым фальшбортом нос «Онеги».

— Снимал с лодки, — пояснил мой друг. — Обратите внимание, чайки над гаванью. А это сутолока большого города.

Я увидел мелькающие у тротуара «фольксвагены», «мерседесы», «оптели», бойких пешеходов, витрины, полисмена в каске, ратушу и рекламу баварского пива. В эту минуту механик поймал какую-то из бесчисленных мелодий «ча-ча-ча», и ритм чужого города получил звуковое воплощение.

— Музыка Васи Ложко, — провозгласил Валера — А вот и туристы.

Неузнаваемо подтянутые, открахмаленные и отутюженные парни с «Онеги» заполнили экранчик. Они держались торжественно и дружно, как слепые оркестранты. Группу возглавлял Кэп.

— Это вы так в каждом рейсе? — спросил я. — Молодцы! А где же Маврухин?

— Он оставался на судне, вахтенным. А это публика у теплохода, любопытные.

Я увидел фрау Кранц, о которой мне рассказывал Шиковец. Она получала за нейлоновые рубашки анодированными часами. Это была полная спокойная немка, из тех женщин, что умеют управляться с коммерцией без мужчин.

В эту минуту механик оставил свое «ча-ча-ча» и, повернув верньер, наткнулся на изящную и тонкую музыку. Настоящую музыку. В ней были ясность и религиозный наив семнадцатого века. Я невольно прислушался, забыв о том, что происходило на экране. Глубокий, мягкий женский голос словно бы скользил

над облаками. Как родничок, прозрачно и чисто прозвучало чембало. Я успел уловить кокетливую мелодию менуэта, но, наверно, ошибся, потому что в арии звучала церковная строгость, которая не вязалась со светским танцем. «Et exultavit» — различил я два латинских слова, выплывшие из арий.

Казалось, еще минута, и я смогу разгадать имя композитора, но тут механик совершил новый бросок в эфир и менуэт сменился лошадиным ржаньем.

— Фрау Кранц повезло, — сказал я. — Ее выход механик озвучил блестяще.

На экране возникли развалины какого-то дома, потом готический собор.

Мелькнул Маврухин. За стенкой «битлзы» ударили ладошками, и Маврухин вдруг заулыбался.

— Блестяще! — сказал Валера. — Молодец механик.

Киноаппарат, нечаянный соглядатель, смушал Маврухина. Он часто моргал Нейлоновый бизнесменчик!.. Он начал свою предпринимательскую деятельность давно — еще «шпажистом». Был такой промысел в первые послевоенные годы. «Шпажисты» — холодные мародеры. Они бродили с железными прутьями — щупами и разыскивали в развалинах города всякое добро: фарфор, столовое серебро, картины, антикварную мелочь. Шиковец еще тогда предупредил Маврухина, и тот дал слово, что бросит шакалье занятие. Но, оставив один промысел, вскоре перешел к другому.

Проектор неожиданно моргнул и погас.

— Лампочка перегорела, — недовольно сказал Валера. — Пойду посмотрю, нет ли где двадцативаттки.

Несколько минуток я просидел в темноте, развлекаясь джазами, которыми угощал механик. По тому, как Валера хлопнул дверью, я понял, что лампочки он не нашел.

— Маврухин не вернулся? — спросил я.

— Нет, — буркнул Валера, складывая проектор.

Отсутствие Маврухина начинало беспокоить меня. Шиковец предупреждал, что вести наблюдение за пределами теплохода не следует, но все-таки я пожалел, что не отправился за матросом в город.

Я вышел на палубу и заглянул к механику, чтобы спросить, нет ли у него подходящей лампочки. Вася Ложко отрицательно помотал головой. Он покашливал и отупело смотрел на свой приемник.

Вода шептала у бортов, на гофрированных крышках дрожали отблески. Невдалеке поскрипывали уключины.

Часть акватории, где стояла «Онега», была плохо освещена, кое-где на берегу сохранились разрушенные здания. Горсовет никак не мог приступить к перестройке этого клочка, потому что участок был болотистым, топким, а планы подземных коммуникаций и дренажа были уничтожены фашистами.

Внезапно дверь капитанской каюты открылась, и Карен выпорхнула на мостик. Платье ее белело над моей головой.

— Паша, вы не видели Машутку? — спросила она. — Нет? Ну, так и есть! Пока я спускалась в камбуз за чаем, она упорхнула. Бедная девочка, расстроилась из-за этой нелепой ссоры. Механик, видите ли, ее приревновал. Отелло чертов!

Я перегнулся за борт и не увидел нашей маленькой лодочки. Скрип уключин уже смолк.

— Боюсь, что она уплыла, Карен.

Возле элеваторов, где встречали китобойцев, взлетели, перекривая наискось небо, две зеленые ракеты. Там слышалась музыка.

— Пойду за ней, — сказала Карен и сбежала с мостика.

Она подошла к шлюпбалкам, на которых висела наша вторая большая дюралевая лодка «Метеор». Механик немало повозился с этим суденышком, приклепывая подводные крылья и устанавливая мощный мотор.

Карен отпустила тормоз лебедки, и шлюпка плюхнулась в воду. Мотор дал оглушительную очередь.

Механик выскочил из каюты.

— Кто угнал «Метеорчик»?

На палубу легли полосы света — это «боцман» Стасик Прошкус включил плафоны под мостиком, а вскоре и сам появился у шлюпбалок. С его рубы стекала вода, а влажные пряди падали на худое длиннolобое лицо. У этого тощего парня всегда был испуганно-озабоченный вид.

— Купался! — насмешливо сказал Ленчик из рубки. Он позевывал, толстый и спокойный, словно котик-секач на лежбище. — А лодки увели. Ответишь за имущество.

Ленчик всегда посмеивался над Прошкусом, который добровольно взял на себя обязанности корабельного завхоза, за что, собственно, его и прозвали «боцманом». У Стасика был характер придиричливой и хлопотливой старухи няини.

— Я душ ремонтировал, — сказал «боцман», оправдываясь. Все замечания он принимал всерьез.

Он взглянул на Кэпа, вышедшего на мостик. У Кэпа, как у Януса, было два лика, точнее, не лика, а возраста. Благодаря округлой физиономии он выглядел молодо, как мальчишка, но лишь в том случае, если на голове была фуражка. Без фуражки во всю ширь открывалась лысина, окаймленная двумя строчками уцелевших волос. И сразу становилось ясно, что нашему командиру не двадцать пять, а все сорок: из Кэпа он превращался в «Ивана Захаровича».

Сейчас, без фуражки, он был «нашим Иваном Захаровичем» и голос его звучал с некоторой отеческой хрипотцой.

— Бузим? — спросил он. — Кстати, где Маврухин?

Мы стояли на освещенной площадке, окруженные ночью, словно актеры в тщательно отрепетированной мизансцене. Ленчик и Кэп наверху, механик у шлюпбалок, Валера на гофрированной крышке люка, а «боцман» и я близ красной доски с огнетушителями. Поммех Леша Крученых, как будто завершая полный «выход», высунулся из тамбура, ведущего в машинное отделение. Как всегда, он был «при галстуке», а волосы, аккуратно причесанные, блестели словно после парикмахерской.

Снова послышался треск моторчика. Дюралевый «Метеор», попав в полосу света, заискрился, словно был сделан из фольги. На буксире Карен привела и вторую лодку. Строптивая Машутка сидела рядом с сестрой.

— Разгулялись, — проворчал капитан. — Как придет Маврухин, немедленно ко мне! — И ушел в каюту.

— А разве Маврухина еще нет? — спросила Машутка снизу. — Я же его видела.

— Где? — спросил я чересчур поспешно.

— Когда отвязывала лодку, он шел к «Онеге». Возле склада, где фонарь.

— Пойду посмотрю, где он там застрял, — сказал я как можно более безразличным тоном и прыгнул с борта на пирс.

3

Я пошел по краю пирса, где плескалась темная вода. Метрах в тридцати от нашего теплохода темнела «Ладога». Это старое судно, поставленное на консервацию, было безжизненно. Ни один иллюминатор не светился, а пустой флагшток торчал как палка. Ветер скрипел оторванным куском жести — казалось, будто на «Ладоге» скулит оставленная собака.

В ночи порт приобрел вдруг загадочные, фантастические очертания. Так бывает в детстве, когда сумерки превращают пальто на вешалке в ожившую фигуру бородатого старичка, а отражающий свет будильника становится зловещим глазом.

Пожалуй, «Ладога» была единственным местом, где мог прятаться Маврухин. Но зачем ему прятаться?..

Я зажег фонарик и тут же увидел фуражку. Она тускло отсвечивала золотым «крабом». По лиху заломленному верху я узнал фуражку Маврухина. Полтора часа назад, когда я подходил к «Онеге», фуражки здесь не было.

Луч фонарика скользнул вниз и уткнулся в темную полосу воды, которая отделяла бетонную стенку от борта «Ладоги». На маслянистой поверхности покачивалось, как поплавок, ярко-желтое резиновое кольцо. Последние дни Маврухин вечно таскал с собой это кольцо. Он поигрывал им, сжимая и разжимая пальцы: «разрабатывал» кисть, готовясь к соревнованиям по боксу.

— Хлопцы! — крикнул я.

«Боцман» уже подбегал ко мне.

— погоди, баграми нужно держать теплоход! — завопил он. — Не то раздавит.

Я прыгнул солдатиком в узкую щель между бортом «Ладоги» и пирсом. Затон был глубок. Холодная тьма словно всосала меня. Перевернувшись в воде, я ухватился за какие-то куски железа, лежавшие на захламенном дне затона.

Ни испугаться, ни толком осмыслить происшествие я не успел. Перед глазами все еще покачивалось ярко-желтое кольцо, подобно восклицательному «о» на косой, трагически черной полосе воды.

Я шарил по дну, но наткнулся лишь на ослизлые камни и консервные банки. Кровь, сгущаясь, стучала в висках. Тьма начинала давить. Стукнувшись головой о днище «Ладоги», я вынырнул в свободном пространстве. Надо мной отвесно поднимались две стенки: бетонная и железная — борт «Ладоги». Вверху Валера и «боцман» багром отталкивали судно, не давая ему приблизиться к пирсу и придавить меня. На «Онеге» включили прожектор.

— Обвяжись канатом! — крикнул Кэп, показывая над пирсом сверкающее темя. Тотчас на меня упал капроновый трос.

Нырнул во второй раз. Густая, пахнувшая соляной водой забивала ноздри. Я шарил по дну, царапая ладони, и все глубже уходил под «Ладогу».

Я считал в уме секунды, зная, что до «шестидесяти» опасаться нечего. На счете «сорок пять» в руки попался трухлявый топляк, покрытый слизью. У меня хватило сил оттолкнуть бревно и продвинуться еще дальше от пирса. Голоза уже была наполнена острым звоном, но я заставил себя продвинуться еще метра на полтора. Счет подошел к критической цифре, губы сами собой разжимались, заглатывая воду.

И тут пальцы наткнулись на то, что не могло быть ни бревном-топляком, ни брошенной бухтой каната, ни цементным мешком, сорвавшимся при погрузке. Оно не было ни твердым, ни мягким, ни теплым, ни холодным, оно не было похоже ни на один знакомый мне предмет. От толчка оно отодвинулось в сторону, но, сохраняя непонятную силу сопротивления, вернулось и снова коснулось пальцев.

Если вам приходилось вытаскивать утопленников ночью с глубины семи метров, вы поймете мое состояние. Описать это трудно.

Голова, казалось, была готова разлететься на части от тугого звона. И все же инстинкт подсказал мне, что это было. Я ухватился пальцами за одежду и сделал попытку приподнять тело.

Меня вытащили вместе с Маврухиным и с куском ржавой арматуры, который вцепился в одежду матроса. Я сразу же пришел в себя, но Маврухина спасти не удалось.

4

— Команде мы сообщили, что это несчастный случай, — сказал Шиковец — Был пьян, свалился.

Я пожал плечами. Происшедшее все еще продолжало угнетать меня.

— Были у него на теплоходе враги?

— Нет. Его недолюбливали. Только и всего.

Это больше походило на допрос, чем на разговор со «своим». Капитан милиции был раздражен, он полагал, что я смогу сообщить ему какие-либо важные подробности. Увы...

— Экспертиза показала небольшое количество частиц кремния только в легких, — сказал Шиковец, вертя в пальцах незажженную сигарету. — Вы понимаете?

Я кивнул. Простейшее анатомическое исследование может быстро установить, захлебнулся ли человек или же попал в воду уже в бессознательном состоянии, когда легкие не работали или почти не работали. Дело в том, что в воде содержится планктон. А планктон в значительной мере состоит из микроорганизмов, клетки которых покрыты кремниевой оболочкой. Если человек захлебывается, планктон с каждым вздохом проникает из легких в кровь, сердце, мозг. И потом там находят характерные частицы кремния.

— Маврухин получил очень сильный удар в правый висок.

Почти не дышал, когда упал в воду, — продолжал Шиковец. — Был трезв. Эксперты исключают, что он мог удариться сам.

Мы сидели в тесной комнате с маленьким окном, завешенным тюлем, с банальными вышивками на стенах и пышно взбитой узкой кроватью. Разумеется, выполняя задание, я не мог встречаться с начальником в управлении, поэтому он назначил мне свидание в квартире, где жил один из его знакомых.

— В это время вы находились в тридцати метрах от «Ладогги»... Вы не должны были все время следить за Маврухиным, тем более ничто не внушало опасений за его жизнь. Но все-таки жаль, что вы можете помочь следствию не больше, чем любой из экипажа «Онеги».

Он поднес ко рту незажженную сигарету и тут же подчеркнул медленным движением опустил ее. Он был человеком строгих правил и не курил в чужой комнате без разрешения хозяев.

— Плохо начинаете!

Мне не хотелось оправдываться.

— Чем ударили, неизвестно, — сказал Шиковец. — Возможно, железным прутом или трубой. Забросить орудие в затон нетрудно. Разве найдешь среди хлама? Никаких следов преступника не обнаружено. Мы сразу же осмотрели «Ладоггу», ваше судно, весь порт

— Значит, опытный.

Капитан милиции искоса взглянул на меня.

— Вы наблюдательны... Как и сообщалось в письме.

Ох, не кленлось у меня с Шиковцом. Это началось еще в день приезда. Оказалось, что подполковник Ерохин, давний приятель Комолова, к которому у меня было письмо от бывшего шефа, уехал из города. Пришлось вручить письмо капитану Шиковцу. Наверное, Комолов слишком уж расхваливал меня, и Шиковцу это не понравилось. Он принял меня за «любимчика».

— Вначале мы решили, что преступник прятался на «Ладогге», — продолжал Шиковец — Но там всюду разлит мазут. Убийца оставил бы четкие следы, сойдя с судна. А их нет.

Он откинулся на спинку стула — тонкий, сухой, с неулыбчивым и напряженно-спокойным лицом. Все в нем отличалось сухостью и внутренней напряженностью — длинные кисти рук, прямые губы, даже лоб с тремя вертикальными морщинами, похожими на восклицательные знаки. Чувствовалось, что при всех обстоятельствах Шиковец соблюдает подчеркнутую выдержку.

— Мы проверили всех «дружков» Маврухина. Это нетрудно — компания всегда была на виду, ведь порт у нас чистый. Так вот, никто из них не причастен к убийству.. Какие характерные детали преступления бросаются в глаза прежде всего? — спросил он тоном экзаменатора

Я не понял, что он хотел проверить — свою гипотезу или же мои способности.

— Мало этих деталей, — сказал я. — Во-первых, фуражка. Она осталась на видном месте, хотя преступник мог сбросить ее в воду, и тогда мы начали бы поиски только на рассвете. Зачем он оставил фуражку? Быть может, хотел, чтобы поиски начались намного раньше.

— Что ж, верно, — хмыкнул Шиковец — А если он просто не заметил фуражки?

— Но, кажется, убийца опытен и предусмотрителен! Вторая деталь: Маврухин знал преступника и не боялся его. Он не ожидал удара. Никто не слышал крика, схватки не было. А Маврухин — сильный парень, боксер. Значит, он не опасался за свою жизнь и не принимал никаких мер предосторожности.

— Что ж, — еще раз хмыкнул Шиковец — Правильно. Но главный вывод: преступник — из экипажа «Онеги»,

— «Онеги»?

— Посмотрите на схему этого района порта.

Он взял лист бумаги и начертил прямую линию.

— Это пирс. У восьмого причала стоит «Онега». Немного дальше — «Ладога». Вот вход в порт. Сразу же — охраняемый склад. Сторож Осенько видел, как Маврухин прошел по направлению к теплоходам. Если бы кто-либо проник в порт несколько раньше или в то же время, вслед за Маврухиным, сторож обязательно заметил бы постороннего. Здесь освещенный участок. К тому же с наступлением сумерек Осенько спустил с привязи собаку, а она признает только своих.

Я кивнул. Со свирепым нравом овчарки Джильды мне уже пришлось познакомиться...

— Со стороны Южного склада тоже никто не мог пробраться незамеченным: там освещаемая лампами трехметровая бетонная ограда. Южный склад принадлежит водочному заводу, стало быть, сторожат. Остается еще один путь — по воде. Вплыв или на лодке. К счастью, весь вечер шкипер с лихтера «17» выбирал переметы недалеко от «Ладоги». Он не видел и не слышал, чтобы кто-либо подплывал к пирсу. Только две лодки отчалили от «Онеги», а затем вернулись.

— Это сестры Забелины.

— Знаю.

Хоть мне и не по душе были сухость и педантизм Шиковца, я не мог не признать, что он — толковый работник и видит яснее, дальше, чем я.

— Стало быть, убийца не мог в тот вечер проникнуть в порт. Запрятаться заранее?.. Где? «Ладога» исключается. Значит — «Онега». Возможно, посторонний...

— Исключено. Постороннего сразу бы заметили, — сказал я.

— Значит, свой. Есть подозрения?

— Никаких.

Он в упор посмотрел на меня серыми, спокойными глазами: «Что ж ты, хваленый сыщик?»

С Шиковцом мы расстались через полчаса. Прошел короткий дождь, и воздух был насыщен свежестью мокрой зелени. Невидимые в сумерках растения кричали о себе из-за палисадников. Волна неповторимых и несмешивающихся ароматов наполняла улицу. Густо и терпко пахла смородина, нежно и мягко — липа, дурманом отдавала бузина, и даже грубый, сухой голос крапивы был различим в этом немом хоре.

В такой вечер хочется быть счастливым и праздным...

Я поскорее покинул колдовскую улицу и вышел на проспект, где гремели трамваи. Дождавшись своего вагона, забрался в тамбур, в самый угол.

Шиковец довольно холодно расстался со мной. На прощанье он вручил фотокарточку молодого человека с прической «под битлов» и попросил проследить, не вынырнет ли этот мальчик где-нибудь в портовых закоулках. Просьба предоставляла возможность уйги от трудного «дела Маврухина» под предлогом нового задания. Мне показалось, Шиковец испытывал своего нового подчиненного. Я украдкой развернул книжку, где лежала фотография, и еще раз взглянул на парня. У него были мечтательно-наглые глаза и надменно растянутый рот. Он старался казаться хулиганистым. Два разнородных общественно-просветительных «учреждения» оставили след на этом восемнадцатилетнем юнце: библиотека и улица.

Этот парнишка бежал из Ленинграда предположительно в наш портовый город. Его манили дальние странствия — такие, что требуют виз. Вероятно, начитался книжек и решил, запрятавшись в сельдяной бочке, посетить коралловые атоллы. А может быть, его, как и одного известного литературного героя, манил город Рио-де-Жанейро, где все жители поголовно носят белые штаны.

Что ж, поймают и отправят к папе и маме — пусть отшлепают.. Но беда, что парнишка вместе с аквалангом, который был его личной собственностью, прихватил икону, которая принадлежала дяде и считается ценным произведением древнерусского искусства.

— Дурень! — сказал я и захлопнул книжку. Меня волновало только дело об убийстве. Я подумал о матери Маврухина. Она прилетела тотчас же, получив телеграмму, и увезла с собой тело — хотела похоронить сына на родине... Сознание вины мучило меня.

На площади Труда я соскочил с трамвая и вскоре очутился в своей комнате, которую снял еще по приезде. Сам капитан Шиковец посоветовал мне найти «надежный уголок на отшибе», и я в точности выполнил указание, поселившись в комнатухе, которая находилась за ванной и туалетом, на месте бывшей кладовой.

Я включил проигрыватель, поставил Четвертую Шумана и лег на раскладушку, чтобы наконец-то собраться с мыслями. Знаменитый романс второй части — солировал гобой — шел куда-то мимо меня, но странным образом помогал сосредоточиться.

Итак, капитан Шиковец считает, что убийца находился на теплоходе «Онега». Вывод этот обоснованный? Что ж, как в детективном романе: «задача в замкнутом круге»?

Преступление могло быть совершено только в то время, когда я находился в каюте и смотрел фильм, примерно между половиной одиннадцатого и одиннадцатью. В эти полчаса на «Онеге» находился весь экипаж, кроме Маврухина, и еще гости: Карен Забелина и ее сестра Мария, она же Машутка. Список лиц, не имеющих абсолютного алиби, выглядел бы так:

1. Валера Петровский. Выходил из каюты и отсутствовал в течение четырех-пяти минут.

2. Карен. Никто не знает, действительно ли она была на камбузе, где стоит холодильник.

3. Иван Захарович. Оставался в каюте один, когда Карен спустилась в камбуз, а Машутка убежала в лодке.

4. Леша Крученых. Якобы был в машинном отделении, но увидели его только около одиннадцати.

5. Ленчик. Нет достоверных свидетельств, что он сидел в рубке все эти полчаса

6. Вася Ложко. Находился в своей каюте, но мог оставить ее на минуту.

7. Машутка. Вышла на палубу одна, как только Карен спустилась в камбуз.

8. Стасик Прошкус. Неизвестно, действительно ли все это время он ремонтировал душ.

9. Я Оставался в каюте один, пока отсутствовал Валера Петровский. Мог выйти и вернуться незамеченным

Из этого идиотского списка я тут же исключил несколько лиц Себя — на основании полного доверия к показаниям. Ивана Захаровича — в его распоряжении было слишком мало времени, не более двух минут. Даже спринтер не успел бы добежать до «Ладоги» и вернуться обратно. По этой же причине я высвободил из суживающегося «замкнутого круга» Васю Ложко. В течение всего вечера он самоотверженно крутил приемник и мог покинуть каюту не более чем на минуту. Карен и Машутку также следовало исключить — ни та, ни другая не могли бы нанести такого сильного удара.

Эти доводы о непричастности могло бы разрушить только одно: сговор. Предположим, Машутка отправилась крутить приемник, а механик с нашим Кэпом и его свояченицей двинулись навстречу Маврухину.. Но прежде чем принять всерьез такую версию, следовало подписать самому себе направление в психолечебницу на том основании, что чиновник Поприщин и в самом деле был королем Фердинандом VIII.

В списке оставались четверо. Валера, Крученых, Ленчик и «боцман» Прошкус. У каждого было достаточно времени, чтобы встретить Маврухина у «Ладоги» и вернуться. Но... все они были славными ребятами, честными, открытыми

Я перевернул пластинку — теперь звучало скерцо — и закурил еще одну сигарету. Шиковец спрашивал, не заметил ли я чего-либо подозрительного в те злополучные полчаса. Я ответил «нет», потому что не хотел болтать обо всех мимолетных впечатлениях, но про себя отметил три детали: 1) Карен незадолго до убийства говорила о злых предчувствиях; 2) «боцман» вдруг взялся чинить душ и вышел на палубу мокрым, как будто только что искупался в заливе; 3) Леша Крученых провел весь вечер в машинном отделении, вместо того чтобы отправиться, скажем, в Клуб моряка на танцы.

Впрочем, поведение «подозреваемых» легко находило объяснение: Карен думала о сестре и ее взаимоотношениях с «Отелло»; Стасик Прошкус одержим манией искоренения недостатков — к счастью, только в масштабах теплохода; что касается славного Леши, то он на днях пережил личную драму, его девушка увлеклась подводником в черной пилотке, и поммеху не с кем было танцевать калипсо...

Я выключил проигрыватель Кабинетное расследование не удавалось. Нужно было отправляться на «Онегу».

«Онега» встретила меня тишиной и светом. Горели все огни на палубе — запоздалая реакция на ночную трагедию. Команда собралась в прикамбузной комнатухе, которая носила громкое название «кают-компании». Ужинали. Стасик Прошкус в белой куртке, свободно висевшей на его костлявых плечах, стоял, опершись о косяк, и держал в руке уполовник, как гетманскую булаву. Это была обычная поза «боцмана».

Сегодня все тарелки оставались нетронутыми, но «боцман» не ворчал. Валера сердито поглядывал на Ленчика сквозь свои телескопы. Видно, я прервал какой-то напряженный разговор.

— О чем вы? — спросил я у Валеры.

— Да вот... Ленчик! Если бы стоял на вахте как следует, может, заметил бы, как свалился Маврухин.

— Лодырь Ленчик! — поддержал Валеру Леша Крученых. Леша, как всегда, был в белой рубашке, повязанной галстуком, удивительно вежливый и собранный. «Мальчик из коробки с тортом», — так сказала однажды Карен.

Обвинения в адрес Ленчика были напрасными, потому что вахтенный не мог видеть из рубки корму, где находились надстройка с каютами и машинное отделение. Надстройка заслоняла и «Ладогу». Да и что мог увидеть Ленчик в темноте?

Наверно, ребята понимали это, но человек уж так устроен, что при каждом бедствии ищет жертвенного козла.

— Неужели ты ничего не слышал? — спросил Ложко.

— Услышишь, когда ты крутишь свои джазы, — ответил Ленчик. — А наверху Карен и Машутка стрекочут.

— Прекратить болтовню, — сказал Кэп. — Милиция достаточно расспрашивала. Сказано: несчастный случай, произошел по вине самого Маврухина.

Экипаж «Онеги» примолк, но тут сам Ленчик решил перейти в наступление:

— Мне не видно было, что за кормой, а у вас там из каюты кто-то выходил: дверь хлопнула. Почему же он ничего не заметил?

— Кто он?

— Я, наверно, — сказал «боцман». — Выходил в душ, а там труба лопнула, пришлось изоляцией обматывать. Но Маврухина не видно было, не слышно.

У «боцмана» в минуту волнения еще резче обозначился литовский акцент. Он нервно помахивал уполовником.

— Судьба человеческая, — Кэп вздохнул и погладил темя. — Не знаешь, где упадешь.

Разговор принимал философское направление. Никто не уходил, страхась одиночества и темных мыслей.

— Вот уж три дня прошло, а не верится, что его нет, — сказал «боцман».

Вася Ложко кивнул головой. Лихой чуб коснулся стола. Вася — простой русский Аполлон, как однажды определила острая на язычок Карен. У механика классическая внешность первого деревенского ухажера. Эдакий ясноглазый малый, в меру добродушный, в меру хитрый, с клоком русых волос, словно у ку-

кольного гармониста, с чуть вздернутым носом. Вдобавок ко всему Вася, истый волгарь, окал и сыпал пословицами

— От смерти не посторонишься, косую не обойдешь, — сказал Вася — Что уж тут.. А я его как раз, встретил накануне на площади Марата. Стоит, газету читает Тронул за плечо: чего, мол, тут? «Так, — говорит, — гуляю по городу».

— У него на площади Марата знакомая жила какая-то. Люда, что ли, — вмешался я в разговор.

Разумеется, никакой Люды я не знал.

— Да нет, — тут же возразил Леша. — Не Люда, а Клава, и не на площади Марата, а на улице Самоварникова. В том районе у Маврухина не было знакомых

Разговор получился любопытный Однако мыслитель Валера неожиданно дал мне подножку и вернулся к общей философской теме.

— Первый же час нашей жизни укоротил ее, — сказал он, цитируя кого-то из стоиков

«Боецман» приоткрыл рот, и я понял, что сейчас последует «все там будет» или «от судьбы никто не уйдет»

— Недаром Карен говорила, что у нее плохие предчувствия, — сказал я. — Бывает так перед несчастьем! То собака воег, то еще что-нибудь За день как Маврухину свалиться и тоже около одиннадцати — я на палубе был — вдруг слышу словно кто-то зовет. Тоненько: «Маврухин, а Маврухин!» Сверху, с мостика Посветил — никого нет. Только выключил, снова. «Маврухин, Маврухин!»

Все оцепенели Признаюсь, и мне стало жутко от собственной выдумки. Но нужно было расшевелить ребят, вызвать поток воспоминаний обо всем, что происходило в последние дни и могло показаться необычным, странным Преступник не оставил следов, совершая убийство. Но он мог оставить их до.

Первым прервал тяжелое молчание Кэп:

— Идеалистическая чепуха!

«Боецман», однако, поддержал меня:

— Нет, почему же? У нас в деревне бывало — в день, когда помереть человеку, вдруг кто-то приходит и зовет. У нас говорили — это Мажанкис.

— Какой еще Мажанкис? — грозно спросил Кэп.

— Не знаю. Никто его не видел. Мажанкис, и все. Приходит!

Неожиданно Леша Крученых, который не верил ни в домовых, ни в бога, ни в черта, пришел на помощь «боецману»

— В этом что-то есть, — сказал он, поправляя галстук. — Однажды ночью у нас по машинному отделению кто-то ходил. И сжатый воздух вдруг зашипел, как будто давление сравня-зали

— Действительно, было такое, — подтвердил механик.

Ивану Захаровичу, который смотрел на мир ясно и просто, не понравились мистические толки.

— Наверно, штуцер неплотно завинтили, — сказал он. — Вот и шипело Следите за двигателем, механики!

— Все штуцера в трубопроводе были завинчены крепко, — сказал Вася. — Но давление действительно сравняло ночью.

— Значит, у нас орудуют привидения? — спросил Кэп. — Кто стоял на вахте?

— Маврухин.

— Постой, это когда бочка загорелась на берегу?

— Верно.

Я тотчас вспомнил волнения той ночи. Теплоход стоял на втором причале, у форта, где докеры складывают всякий мусор. Ночью вспыхнула одна из бочек с «обтиркой» — промасленным тряпьем. Очевидно, произошло самовозгорание. Над бочкой возник двухметровый огненный столб. Маврухин, напуганный близостью огня, разбудил капитана, и тот отвел теплоход подальше, на восьмой причал, где мы и остались. Тем временем Валера, Ложко и я справились с пожаром, закрыв бочку брезентом.

— А в самом деле давление в ресивере было стравлено, — сказал Кэп. — Пневмостартер у нас берет с первого оборота, а в тот раз дизелек еле завелся.

— На свете есть много, друг Горацио... — начал было Валера, но Кэп раздраженно перебил его.

— Хватит. До чертей договоримся. Предчувствия, штуцера, голоса с мостика.

Ребята нехотя разошлись по каютам.

Этой ночью Леша нес вахту. Он поднялся на мостик, поставил шезлонг. Лицо его от раскуриваемой трубки озарилось красным светом.

«Мальчик из коробки с тортом»... Язвительная Карен, этот мальчик не такой уж приторно-сладкий. Не надо верить чистенькому личику, блеску бриллиантина и вежливому тону. Лешенька Крученых провел три года в колонии для несовершеннолетних. У него особые причины носить в будний день открахмаленную рубашку и аккуратно завязанный галстук. Поммех старательно бережет в себе чистенького, отутюженного мальчика, так не похожего на убежавшего однажды ночью от пьяного отчима паренька, ставшего впоследствии «уркой».

Я присел на скамейку рядом с шезлонгом Леши.

— Ты не выдумал насчет штуцера?

— Нет, не выдумал.

— Странная история. Как ты ее объясняешь?

Замечательная пенковая трубочка гасла. Леша, отчаянно пытая, придавил большим пальцем табак.

— Кто его знает...

Прогудел мощным мотором катер. Нас качнуло, стукнуло о пирс, и теперь свет лампочки, горевшей в рубке, падал прямо на лицо Леши Крученых, я же оставался в тени.

— Просто я смолчал на камбузе, — сказал я. — Такое знаю, что все бы ахнули.

Я внимательно наблюдал за ним. Чуть-чуть излишне подчеркнутое безразличие, чуть-чуть убыстренная реакция — здесь все зависит от этого «чуть-чуть». Я взял его за руку — как бы по-дружески, желая полностью довериться. Мои пальцы ощущали и малейшее движение мышц и биение крови. Человек может научиться владеть мимикой, но мышцы руки и пульс способны выдать волнение.

Леша поднял бровь и спросил иронически:

— Видел привидение, которое скрутило штуцер?

— Нет, в самом деле знаю. В тот же вечер догадался.

Конечно, это был наивный блеф. За такие шутки меня следовало бы дисквалифицировать с последующим недопущением к оперативной работе сроком на двадцать лет (за двадцать лет подрастет более толковое поколение). Но я делал ставку на атмосферу тревоги Леша, как и все, был взбудоражен после разговора за ужином. Если бы предостережение попало на больное место, я сразу почувствовал бы это.

Но реакция поммеха выражалась в простом любопытстве. Никакого испуга, настороженности.

— Рассказывай, не тяни!

Тогда я наклонился к нему и шепнул на ухо:

— Машутка влюблена в механика

— Фу ты, черт! Кто же не знает? Об этом сигнальщики флажками пишут.

Он хлопнул меня по плечу, по-дружески прощая туповатость.

«Ерунда, ерунда и еще раз ерунда! — сказал я себе, спустившись с мостика и стукнув кулаком о твердый обод спасательного круга — Эти четверо ни при чем. Что ты суетишься и устраиваешь идиотские экзамены?»

Я прошел в душевую. На стоянках, когда дизель не работал, приходилось довольствоваться холодной водой. Душ был жестким, как терка, и сразу снял усталость.

На изогнутой водопроводной трубе я нащупал плотное кольцо изоляционной ленты. Вездесущий работяга Прошкус в самом деле порабатал в душевой. «К черту, — сказал я. — Верю тебе, «боцман»! И тебе, лодырь Ленчик, и тебе, мудрый философ Марк Валерий Петровский. Верю всем четверым».

Очевидно, это решение и было вторым, моральным душем. Исчезла никотинная горечь, оставшаяся после разговора с Лешей. Все стало просто и ясно. Я постучал в каюту «боцмана» и вошел к нему не как «сыщик», нарядившийся в тельняшку и полный профессионального любопытства, а как человек, жаждавший дружеского разговора.

«Боцман» лежал на верхней койке и пришивал пуговицы к кителю механика. Увидев меня, он заулыбался.

— Хорошо, что зашел. Хочешь покушать? Может, холодного компота?

— Ты как нянька.. Лучше расскажи о своей деревне.

— Тебе в самом деле интересно про мою деревню?

Я посмотрел на его худое, некрасивое лицо «Боцман» из породы неудачников, но полон доброты, участия и желания служить другим. Мне кажется, «Онега» смогла бы обойтись без Кэпа, но без «боцмана» вряд ли. Без него она попросту стала бы другим кораблем. Стасик наделен талантом доброты и веры. Есть ли у меня хоть крупица этого дара? Нет, ничего страшнее в нашей профессии, чем человек, полный недоверия и подозрительности.

— Знаешь, моя жизнь не очень хорошо сложилась, — рассказывал «боцман» с заметным литовским акцентом. — Сначала немцы наш дом разорили. Потом бандиты — «зеленые».

Меня били. Голова до сих пор болит. И мне сильно хотелось культурную жизнь иметь. Но учиться мало времени было. Работал А сейчас хорошо. Ребята помогают учиться. Матери деньги высылаю. Хорошо...

Я вышел на палубу. Ветер очистил порт от испарений соляры и принес запах листвы. В такую ночь трудно заснуть, даже если не работашь в угрозыске.

Три фигуры были едва различимы в полумраке. На берегу стояла Машутка в белом платье, тоненькая, как свечка. Валера, склонившийся с борта, казался каменной глыбой. А над ними, на крыше мостика, парил, как Мефистофель, Леша Крученных, бросая время от времени иронические реплики. Поммех знал, что Валере очень нравится Машутка.

— Вы скоро уходите в рейс? — спросила Машутка.

— Через три дня, — ответил Валера

Он поглаживал леер от волнения.

— Скажи что-нибудь о погоде, — свистящим шепотом посоветовал поммех. — Или афоризм выдай

Валера показал Леше кулак.

— Я знаю, чего ты пришла, — глухо сказал он. — Твой Вася дурень. Он ревнует, что ты в театре с мичманом была.

— Господи, — тихо ответила Машутка. — Так это ж наши шефы. И не один мичман, а трое.

— Понял? — торжествующе спросил поммех. — Всего трое!

Валера прошел в каюту Васи Ложко. Я не мог не оценить его мужества. Жаль, что не этот парень нравился Машутке.

Разговор его с механиком длился недолго. Вася, перемахнув через леер, оказался рядом с Машуткой. Они медленно пошли вдоль пирса, в сторону от «Онеги».

Двадцатилетней, господи, прости...

Откуда явились эти строчки? Память у меня как фамильная шкатулка — вместе с какими-то важными сведениями она хранит малозначительные, неизвестно когда и как попавшие клочки. Наверно, это результат бессистемных тренировок — готовясь к работе в угрозыске, я усиленно тренировал память по собственному методу, заучивая стихи.

Двадцатилетней, господи, прости

За жаркое, за страшное свиданье...

Вспомнил. В Иркутске, на литературном концерте, заезжий декламатор читал стихотворение, и называлось оно «Молитва за Гретхен».

Двадцатилетней, господи, прости

За жаркое, за страшное свиданье,

И, волоса не тронув, отпусти,

И слова не промолви в назиданье.

Его внезапно покарай в пути!

Железом, серой, огненной картечью,

Но, господи, прошу по-человечьи

Двадцатилетней, господи, прости!..

«Почему вспомнились эти строчки? — подумал я, глядя на тающее в сумраке белое платье. — Наверное, это зависть».

Рядом тяжело вздохнул Марк Валерий Петровский, наш стюк. — Они познакомились в яхт-клубе, — сказал он. — С тех пор Машутка здесь частый гость. Она работает в магазине грампластинок. А Вася хороший парень, правда? — спросил Валера, заглядывая мне в лицо — Однажды он провожал Машутку и на них напали двое. Хулиганье Вася их разметал знаешь как!

Он смотрел на меня, как бы ища подтверждения. Выпуклые линзы очков светились, как лунные камни.

— Любовь зла, — произнес сверху Мефистофель-Лешенька

6

Итог вечерних разговоров и событий я записал в блокнот

«1. Маврухин, по словам механика, за день до гибели был на площади Марата. Читал газету в витрине. Говорят, знакомых в этом районе у него не было.

2. Ночью, за трое суток до убийства во время вахты Маврухин кто-то якобы ходил по машинному отделению и свинтил штуцер в трубопроводе, ведущем к пневмостарту.

3. В ту же ночь, немного позже, загорелась на причале бочка с ветошью, и Кэп из-за недостаточного давления в ресивере с трудом завел двигатель, чтобы отвести теплоход.

4. Вывод из разговора с Лешей Крученых: он не замешан. Вообще «четверка» здесь ни при чем.

5. Приходила Машутка. У нее зеленые глаза. Такие глаза в жизни встречаются гораздо реже, чем в книгах».

Разумеется, последняя деталь не имела никакого отношения к расследованию. Но глаза у Машутки действительно зеленые и красивые.

Я вырвал листок из блокнота — он уже больше не был нужен, карандаш помог привести мысли в порядок, — свернул трубочкой и сжег. Бумажка превратилась в пепел.

Интересно, отчего загорелась бочка с ветошью? Вообще как могло вспыхнуть тряпье? Окурки, самовозгорание? Но тогда ветошь долго тлела бы! А Маврухин увидел столб пламени. Значит, кто-то поджег бочку, плеснув туда бензина. Кому-то нужно было, чтобы «Онега» перешла к другому причалу. Кому? Ответа пока нет. Прежде всего надо отправиться на площадь Марата и прикинуть, что могло понадобиться Маврухину в этом районе.

«Самое серьезное заблуждение любого преступника — надежда на то, что время смывает следы, подобно волне. Но время работает на угрозу. И еще на прогресс». Так говаривал майор Комолов.

Меня разбудило топанье ног на палубе. Валера сунул под бок свой гиреобразный кулак.

— Вставай, авральчик! Готовимся к рейсу.

Мы ринулись в умывальник.

— Как странно устроена жизнь! — сказал Валера, отфыркиваясь. Без очков лицо его казалось чужим и голым. — Стран-

но и противоречиво! Недавно мы пережили трагедию. И вот, пожалуйста, Ложко женится. Уже объявил. Вернемся из рейса — будет свадьба.

Валера попытался улыбнуться. Надо сказать, обычно никто не радуется, когда любимая девушка выходит замуж за другого, даже если это хороший парень. Но в Валере не было ни песчинки эгоизма.

Все мы, Диогены, ищем нового человека, высоко поднимая фонари в солнечный день. А потом оказывается, что новый человек всю жизнь прожил на нашем этаже, только он носил очки с толстыми линзами и казался чудаковатым.

На палубе Кэп произнес короткую речь. Он сказал, что главное для команды — образцово провести очередной, тринадцатый рейс «Число тринадцать — счастливое число, — на всякий случай сообщил Кэп — А посему надлежит «вылизать» теплоход, прежде чем идти под погрузку».

Через шесть часов у нас уже не разгибались спины. Ребята разошлись по кубрикам, а я, проклятая жару, потащился через порт к трамвайной остановке.

Приехав на площадь Марата, я прежде всего осмотрелся. Площадь была довольно правильной эллиптической формы, центр ее образовывала клумба с пышными каннами. Белое пятнышко газетной витрины я увидел в дальнем краю эллипса.

Асфальт на площади был мягок, как тесто. Наконец я добрался до витрины и уткнулся в желтый, месячной давности номер «Советской торговли». Вот здесь механик заметил Маврухина. Разумеется, тот приехал на площадь не для того, чтобы ознакомиться с газетой. И не на свидание. Если бы Маврухин ожидал кого-нибудь, он выбрал бы место потише и потенистее, а не стал бы торчать на асфальтовой площадке для всеобщего обозрения.

Очевидно, Маврухин пересекал площадь, но, заметив механика, приостановился у витрины, чтобы избежать встречи. Куда же он держал путь?

Пивной ларек, сатуратор, тележки мороженщиц — все, что может представлять соблазн в жаркий день, было сосредоточено у трамвайной остановки. После бешеной работы на судне пешая прогулка не доставляла особого удовольствия. Потребовалось полтора часа, чтобы осмотреть кварталы, прилегающие к той части площади, где находилась витрина.

Итак, здесь были следующие учреждения и «точки»: ларек «Галантерея», «Гастроном», филиал комиссионного магазина, пункт оргнабора, родильный дом, библиотека имени Новикова-Прибоя, управление телефонной сети и прокуратура. Составив небольшой план, я начал обход. Допрашивать кого бы то ни было я не мог, поэтому пришлось пустить в ход самые различные тактические уловки.

Через некоторое время я знал, что ни в управление телефонной сети, ни в роддом, ни в пункт оргнабора, ни в «Гастроном», ни в комиссионный магазин Маврухин не наведывался и знакомых у него там не было.

В ларьке «Галантерея» работал только один продавец — худощавый человек в пенсне, похожий на зубного врача, который однажды удалял мне два зуба с помощью деревянного мо-

лотка Это были хорошие, крепкие зубы, но я застудил их, выслеживая «щипача», стащившего у старушки кошелек с мелочью. С тех пор прошло немало времени, но я все же подержался за щеку, входя в ларек.

«Вас обслуживает тов Стршикошевский» — объявляла надпись.

Выждав, когда ларек опустеет, я перегнулся через прилавок и сказал шепотом:

— Есть нейлоновые рубашки.

Продавец поправил пенсне. У него были зоркие глаза под мохнатыми бровями

— Есть пудра для загара, — ответил он так же заговорщически

— Зачем мне пудра?

— А зачем мне рубашки? — спросил гражданин Стршикошевский. — Имею целых три!

— Вы не поняли Есть нейлоновые рубашки!

— Так наденьте хотя бы одну, — сказал наглый продавец, — вместо вашей ковбойки

Из ларька я вышел раздосадованный и вместе с тем довольный Иногда приятно получить по физиономии. Но через минуту вернулся к Стршикошевскому. Нужно было все-таки поставить точку над «и» Я показал фотографию Маврухина.

Дотошный продавец, изучив снимок, посмотрел и на обратную сторону. Обратная сторона была что надо: «Паша, друг, помни!» Это вывел сам Маврухин — по моей просьбе.

— Компаньон, — сказал я — Сегодня не мог прийти

— Я видел этого человека, — ответил продавец — Он заходил и предлагал «товар». Может, он ваш друг. Но на таких друзей надо спускать собак

— Наверно, он заходил давно, если без меня.

— С полгода назад Но дня четыре назад я видел его с Копосевым.

— А, Копосевым Этим долговязым!

— Ха! И вы «друг»? Копосев работал у нас в системе. Его выгнали. Он коротышка С лицом обиженного бульдога.

Продавец не лгал, это было ясно. Значит, Маврухин заходил сюда, когда начал «коммерцию» и подыскивал клиентуру Наверно, в конце концов он нашел Копосева. Фамилию этого типа я слышал от Шиковца

Оставалось проверить еще библиотеку и райпрокуратуру. Но что было делать там Маврухину? Знакомства с блюстителем закона он не поддерживал и любовью к чтению не отличался

Я свернул на тихую аллею, где находилось кирпичное здание с надписью по фронтону: «Библиотека имени Новикова-Прибоя». Оказалось, абонемент на ремонте и открыт лишь читальный зал. Это облегчало задачу.

В большом прохладном зале сидели два пенсионера и библиотечарша, славная девушка в передничке, который делал ее похожей на школьницу Я подсел за ее столик.

— Август, пусто, — как будто оправдываясь, сказала девушка

Ее звали Надей, она скучала, поэтому, поговорив о лите-

ратуре, мы перешли на кинематографию, и тут выяснилось, что нам обоим не нравится Тихонов, а Смоктуновского мы обожаем.

Затем я сказал, что недавно в читальном зале побывал один мой приятель и восторженно отзывался о Наде. Это была маленькая ложь, и я очень сожалел, что приходится забрасывать блесну перед этой наивной девушкой.

Естественно, Надя заинтересовалась приятелем, я назвал его, и моя новая знакомая тут же принялась перелистывать журнал, в котором записывала фамилии читателей.

— Вы все придумали, — сказала она. — За последнюю неделю никакой Маврухин не приходил.

— Ну ладно, придумал!

— Вы обманщик, — весело сказала Надя. — Ну, посидите, почитайте. Хотите, дам детектив? Ох, там такое преступление! «Тайна старого особняка».

Оставалось еще заглянуть в райпрокуратуру, но я решил этого не делать. Есть какая-то грань, за которой педантизм превращается в маниакальную одержимость. Подумав об этом, я тут же переступил роковую грань достал фотографию.

— Вот мой приятель. Все-таки, кажется, он рассказывал именно о вас.

Тонкие брови взметнулись вверх.

— Он был три дня назад. Но какой же он Маврухин? Я его хорошо помню: за книжками пришлось бегать в хранилище.

Какая-то пружинка во мне вдруг соскочила со стопора и, больно ударив, заставила вздрогнуть.

— Он не Маврухин, — Надя заглянула в журнал. — Он Чернов Павел Иванович.

— Господи, конечно же, Чернов. Мы его только так называем Маврухиным. Кличка.

Вот и толкуй о том, что чудес не бывает! За какой же книгой приезжал сюда Маврухин, если он вынужден был пробираться тайком да еще и разводить конспирацию?

— Наверно, Кочетова опять читал, — сказал я. — Он Кочетова очень любит.

— Нет, нет! — махнула рукой Надя. — Принесите, говорит, книжки про старинные иконы. Спрашиваю в шутку. «Верующий?» — «Нет, — говорит, — но надо провести беседу с баптистами, а я не совсем разбираюсь». — «Действительно, — отвечаю, — не разбираетесь. баптисты икон не признают». Он смутился: «Я их путаю, баптистов и прочих. Какая разница — все они заблуждаются». Ну, я принесла две книги.

— Какие же?

— Да они здесь, я еще не отдавала в хранилище.

Надя потрянула взбитой прической и мельком взглянула на свое отражение в стеклянном шкафу.

Зачем понадобились эти книги Маврухину? И вдруг, подобно электроразряду, возникла четкая и неожиданная ассоциация. Тот парнишка из Ленинграда, увезший икону! Не слишком ли странное совпадение? Два человека, ступившие на уголовную дорожку, одновременно проявляют «интерес» к древнерусской живописи. Не значит ли это, что между ними возник контакт?

Быть может, Маврухин, столкнувшись с Юрским, решил на всякий случай навести справки: что за штука такая — иконы, действительно ли в большой цене? Пришлось обратиться к книгам

— Вот они! — сказала Надя. — Обе

Бегло пролистав книги — одна оказалась сборником антирелигиозных очерков, а вторая монографией о последних открытиях реставраторов, — я пришел к выводу, что Маврухин вряд ли почерпнул для себя что-либо особенно ценное. Его, очевидно, интересовала стоимость икон. Однако он понял, что за настоящую древнюю икону могут заплатить там огромную сумму. Монография начиналась со слов о том, какой исключительный интерес проявляют во всем мире к произведениям русской древней живописи.

Близ библиотеки отыскал телефон-автомат

Трубку поднял сам Шиковец

— Нам нужно срочно встретиться, — сказал я.

— Ладно, через час. Хотите рассказать что-нибудь о церковной живописи? Ладно.

Ну, капитан! После Карен это второй ясновидец, которого я встречаю в городе.

7

Через час мы сидели в той же комнате с тюлевыми занавесками. Шиковец был в прекрасном настроении, глаза выдавали довольную усмешку. Я рассказал по порядку — о маленьком пожаре на пирсе, который раньше не вызывал никаких подозрений, о странном происшествии в машинном отделении, о Копосеве, который встречался с Маврухиным незадолго до его гибели, и, главное, о сенсационном посещении библиотеки.

— Прекрасно, — сказал он. — Ценные сведения

Шиковец не умел льстить — об этом свидетельствовал его облик честного и сурового служаки. Поэтому похвала была особенно приятна. Однако капитан из угрозыска рубил малейшие ростки самодовольства лихо, по-кавалерийски, как рубят лозу.

— Все это немного дополняет наш материал.

— Как вы догадались, что Маврухин интересовался иконами?

— Стало известно, что Маврухин встречался с Юрским. С этим, — Шиковец положил на стол фотографию паренька, похитившего икону. — Их видели вместе в закусочной «Стадион». По-видимому, раньше не были знакомы. Кто-то вывел Юрского на Маврухина. Или случайно столкнулись.

— «Стадион» как раз на дороге с вокзала в порт.

— И встретились они в тот же день, когда Юрский приехал сюда. В руках у него был большой деревянный чемодан. Теперь вы понимаете, почему я ошибался, предполагая, что убийца находился на «Онеге»?

— Нет.

— Вы забыли: деревянный чемодан Юрского — это ящик от акваланга, — выждав паузу, пояснил Шиковец. — Мы выпустили из виду еще один путь, которым убийца мог проникнуть к пирсу.

Это начинало смахивать на приключенческий фильм, однако я доверчиво относился к лихим сюжетам. Жизнь иной раз закручивает такие штучки, которые не придут в голову самому изобретательному сценаристу.

— Хотите сказать, он пробрался под водой?

— Именно так! Вы говорите, убийцы среди команды «Онеги» не может быть? Но и посторонний не мог появиться у теплохода. Возникает вакуум.. Но теперь все разъясняется. Рассказ о стравленном давлении еще раз подтверждает наши предположения. Юрский приплывал к пирсу, а Маврухин заряжал ему акваланг от ресивера.

— Нужен фильтр, в ресивере грязный воздух, — пробормотал я. — И нужно еще подогнать зарядный штуцер.

— В судоремонтных мастерских работает дружок Маврухина. Он сообщил, что три дня назад Маврухин заказал ему выточить одну штуковину. В общем что-то вроде двойничка — один штуцер присоединяется к трубопроводу, другой к фильтру. А фильтр мы нашли на том берегу, где в брошенном катере скрывался Юрский. Теперь Юрского там нет. Бежал.

Признаться, я был немного ошеломлен. Не ожидал от этого педантичного «сухаря» такой прыти. Загадка-то была с семью замками. Но капитан подобрал почти все ключики.

— Как тогда объяснить пожар на пирсе?

— Думаю, икона была уже у Маврухина. Он решил отвяжаться от сообщника. В последний раз зарядил акваланг и сделал так, что судно ушло от второго причала.

— Неужели этот тип мог решиться на убийство из-за какой-то иконы?

— Запрашивал Ленинград, — сказал капитан — Иконы-то разные бывают, вот какая штука. «Наша» называется, кажется, «Благовещение». «Благовещение» — это, знаешь ли, когда архангел Гавриил является к деве Марии возвестить о непорочном зачатии. Ну.. Пушкина помнишь?

Он хмыкнул и даже чуть улыбнулся. Вместе с переходом на «ты» это выглядело действительно чудом, как и непорочное зачатие. Но в ту же секунду улыбка соскользнула с лица капитана. Так фокусники прячут яичко в рукав.

— Эту икону написали еще при царе Горохе. Знаток считает, что ее могут оценить там, — Шиковец указал пальцем за плечо, — не менее чем в четверть миллиона долларов.

— Сколько? — спросил я, привстав.

— Юрский знал, что прихватить с собой! — сказал Шиковец. — Думаю, он действовал примерно так. Прежде всего по приезде ему нужно познакомиться с кем-нибудь из «загранки». Он идет в «Стадион», где околачивается всякая портовая шушера. Сталкивается с Маврухиным. Они находят общий язык. Юрский поселяется на той стороне затона, на брошенном катерке... Маврухин, кстати, купил для него свитер, сапоги и ватник, чтобы не мерз ночами. Кое-что из вещей мы нашли на месте ночевки. Наверно, Маврухин обещает Юрскому, что возьмет его на теплоход и прячет, но это, конечно, липа: Маврухин намерен реализовать иконку самостоятельно. Он похищает ее у Юрского или заполучает обманом. Происходит ссора. Юрский пере-

правляется к пирсу под водой и подстерегает Маврухина у «Ладоги»...

Что ж, версия расставила все детали и соединила их прочной связью последовательности. Таким образом, четверо моих друзей с «Онеги» полностью реабилитированы.

— Ну, а Копосев? — спросил я.

— Он действительно был связан с Маврухиным. Даже провожал его в тот вечер. Но в десять сорок пять он уже был в «Стадионе». Это алиби.

— Что же теперь делать мне?

— Думаю, рано раскрываться, — сказал капитан. — Оставляй на «Онеге». Может, Юрский объявится в порту.

— Но «Онега» отправляется в рейс через три дня!

— Ну и что же? Проветрись! У тебя, кстати, за прошлый год отпуск не использован.

Надо отдать должное — капитан не старался хитрить. Я хорошо понял все, что он хотел сказать. Мол, приехал ты с блестящими рекомендациями от своего начальства, но ведь неизвестно, как ты их заслужил. Пока особого прока от тебя не видать. Вот сначала помаринуем, посмотрим, что за гусь, а потом — милости просим! Что ж, это по-своему справедливо.

Катись, Чернов. Вкуси блаженство отдыха. Но я знал, что не смогу вкусить. Я уже не в силах оторваться от «дела Маврухина — Юрского». Прирос к нему. Так всегда бывает. Пока расследование не окончено, не можешь наслаждаться жизнью, как все

И потом меня не оставляло ощущение, что, несмотря на всю серьезность и обоснованность версии, где-то допущена ошибка.

Я вернулся на «Онегу», когда солнце уже садилось в разрыве туч. Дул ветер. Суда покачивались, как поплавки.

— Сачок! — сказал Леша Крученых.

— Он под охраной профсоюзов, — рассмеялся Ложко. Фраза прозвучала как сплошное раскатистое «о».

— Здорово, волгарь, — ответил я, нарочито подражая его выговору, и тяжело опустился на скамью. — А где невеста?

— Завтра они отправятся в «предсвадебное путешествие», — сказал Леша. — На яхте по заливу.

Механик и его помощник, уткнувшись лбами, колдовали над топливным насосом. «Боцман», шурша стружками, перекладывал из ящика яйца и шелкал на счетах. Валера драил медяшки... Команда готовилась к рейсу.

— Эй! — крикнул мне «боцман». — Ты не брал полиэтиленовые мешки? Четырех не хватает.

— Прошкус целый день пристает со своими мешками!

— Как не приставать? Большие мешки. их нигде не купишь, только в портовом складе выдают. В таком мешке мука хоть под водой хранится.

— А ты заверни муку в свою «болонью»...

Реплики пролетали мимо меня, как теннисные мячи. Но я не принимал участия в этой обычной словесной потасовке

Мысли о Юрском не оставляли меня... Вряд ли он ушел из порта. Скорей всего схоронился на «корабельном кладбище» или

на островах. Суток через пять он вынужден будет выйти из убежища. А ребята Шиковца начеку.

Если бы найти его до того, как «Онега» отправится в рейс!.. Но как искать человека, по существу ничего не зная о нем?

— Пашка, чего ворон считаешь? — крикнул Валера. — Давай, а то Кэп премии лишит Вкалывай

Отсылав из картонной коробки порошок, который матросы звали «чистоплюем», я пошел в рубку. Досгал фотографию Юрского, положил перед собой и принялся тереть тряпкой выпуклый колпак компаса.

Итак, этот парень, вчера еще подросток, совершил убийство... Причем из корыстных побуждений — отягчающее обстоятельство!

С фотографии смотрели на меня живые, дерзкие, мечтательные глаза.

— Я-то думал, что ты дурачок, — сказал я. — Насмотрелся киношек, потопкался на улице и решил затеять невиданное путешествие к Азорским островам... Как же! Дурачок прихватил бы пару серебряных ложек да бабушкину «десятку», уцелевшую во времена Торсина. А ты — «Благовещение» в четверть миллиона... Как же!

И все-таки: кто он, этот Юрский, каков он? Мы построили модель, исходя из двух преступлений — кражи иконы и убийства. Однако между этими двумя преступлениями огромная психологическая дистанция.

Меня не оставляли сомнения. Быть может, в глубине души я был убежден, что молодость способна на злое только по неведению или порыву, но творить зло сознательно, обдуманно не может.

«Кто он, каков он?» Не получив ответа на эти вопросы, и Шиковец со всеми его практическими навыками оперативной работы не сумеет правильно вести поиски. Он слишком прямолинеен, Шиковец. И не очень-то великодушен по отношению ко мне. И все же, что бы ни разделяло нас, мы составляем рабочий организм. Я, со своими привычками к теоретизированию по каждому поводу, и он, лаконичный, суровый практик. Надо искать общий язык. Надо.

Ночью долго не мог заснуть. До отплытия оставалось два с половиной дня.

Ранним утром я позвонил в управление. Над заливом еще стоял туман. Где-то звенел судовой колокол. Это был предрабочий час, но Шиковец приходил на службу раньше других.

Я говорил пять минут без перерыва. Потом капитан долго дышал в трубку. Я испугался, что он заснул.

— Стало быть, ты не считаешь себя в отпуске? — спросил он наконец. Мне показалось, в голосе его прозвучало удовлетворение. — А к кому явишься в Ленинграде?

— К родственникам... друзьям. Осторожно.

— Ну, ладно. Запиши адрес. Учти, командировки дать не могу. Сам старайся.

Ну вот, обошлось. Я опасался, что он откажет, а я в ответ наговорю глупостей.

На «Онегу» вернулся рысью. Валера, расставив босые ноги, поливал палубу из шланга.

— Опять будет жара. А механик обещал дождь на все лето. Знаток из деревни! «На Самсона дож, семь недель тож», «Много мошек, готовь лукошек», — передразнил он нашего волгяря.

Я прошел на нос и спустился в каюту. Ленчик лежал на койке и развинчивал пороховое ружье для подводной охоты. Это был «Бонстром» последней модели, выбрасывающий гарпун, по свидетельству владельца, с силою тысячу килограммов

— Зачем ты купил эту пушку?

— А зачем я купил аккордеон?

Этого на «Онеге» в самом деле никто не знал. Ленчик любил покупать дорогие вещи, которые были ему абсолютно ни к чему.

— Здорово бьет, — сказал Ленчик, рассматривая патрон. — Дюймовую доску — свободно.

— А что еще ты собираешься покупать?

— Наверно, аквариум. Уже присмотрел. Литров на сто. Скаляров разведу — до чего красивая рыбешка!

— Отложи аквариум. Мне нужны деньги — срочно лететь в Ленинград.

— Личные дела? — понимающе спросил Ленчик. — Ты бы хоть фотокарточку показал. Красивая?

— Очень.

Ему удалось паскрести полсотни. Через минуту я выдержал разговор с Кэпом и едва успел на автобус. В аэропорту у кассы стояла очередь, а над очередью красовалось объявление о том, что билетов нет. Но едва я стал протискиваться, как меня тронул за плечо парень в кожаной куртке. На лбу его отпечатались полоска от мотоциклетного шлема.

— От Шиковца, — сказал он. — Получи билет у диспетчера. Забронируй обратный рейс.

В самолете у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить над противоречивым характером строгого капитана Шиковца

8

Такси пробежало город, вырвалось на Васильевский остров и застряло в геометрически правильной паутине улиц. Это было царство прямого угла.

Я поднялся на пятый этаж серого, безликого дома

Дверь открыла мать Юрского. Для женщины сорока лет, к тому же переживающей несчастье, она слишком смело обращалась с косметикой. Я сказал, что знаком с ее сыном и пришел узнать, почему он не появляется.

Она провела меня в комнату, поправила прическу и неожиданно всплеснула руками:

— Не углядели мы Славика, не углядели!

Жест показался театральным. Похоже было, она не знает, как выражать горе, и поэтому прибегает к сильным приемам. Быть может, эта женщина еще не поняла, что произошло.

— Не углядели мы! — повторила она

Многозначительное местоимение перекладывало часть ответст-

венности и на меня. Что ж... В комнате чувствовалось отсутствие мужчины, хозяина. Вдовья доля, наследство войны.

— Убежал Славочка, убежал.

— Куда убежал?

— Может, во флот. Он давно с приятелем договаривался, с соседом Алешкой. Милиция уже расспрашивала. Он у моего двоюродного брата какую-то иконку взял. Господи, это ж от баловства!

— А больше ничего не взял?

Я переборщил с расспросами. Она спросила сухо, изменив тон:

— Где же вы с ним познакомились?

Вытащив из кармана цепочку, я покрутил ее вокруг пальца. Эта цепочка, увешанная всякими заграничными брелоками, с автомобильным ключиком была противовесом профессиональному любопытству. Брелочки позванивали о легкомыслии, ключик свидетельствовал о прочном материальном положении. И то и другое не вязалось с представлением о сотруднике угрозыска.

— Мы любим автомобили.

— Понимаю, — сказала она с облегчением. — Молодежь сейчас очень интересуется машинами.

«Скорее всего продавщица, — думал я, поглядывая на хозяйку. — У тех, кто стоит за прилавком, особая сутулость. Выпрямляясь, они откидывают корпус назад, чтобы сбросить тяжесть с поясицы...»

В доме много дорогих вещей, аляповатых и безвкусных.

— Вы кажется, в магазине работаете?

— В аэропорту, в буфете.

— Хорошая работа!

— Да где уж! По суткам дома не бываю. Ну, правда, о Славике забочусь, вещички у него что надо.

«Война еще ходит по домам, — подумал я. — Может быть, она не стала бы пустой бабенкой, будь рядом с ней крепкий и сильный мужчина».

— Я Славочке все условия стараюсь создать. Вот, пожалуйста. Уютный уголок, правда?

Я окинул взглядом «уютный уголок». Рисунок брига на стене, секретер. Две полки с книгами. Жюль Верн, Мопассан, двухтомный Джозеф Конрад, затрепанный. Множество пестрых журналов, «Пари-матч», «Стэг»... Наверно, мамаша приносила из аэропорта. Что ж, читай, коли голова на месте. Но ведь он небось, слюнявя пальцы, рассматривал лишь рекламу и полуголых девчонок. «Изящная жизнь»!

К секретеру был приколот самодельный плакатик, изображающий характерный силуэт Петровской кунсткамеры. Надпись: «Мир — кунсткамера, люди — экспонаты. Ст. Юрский».

Позер...

— Вы хорошо зарабатываете?

Она пожала плечами и усмехнулась. Автомобильный ключик и брелочки чем-то незримым роднили нас.

— У буфетчицы трудная работа.. Ну, иногда помогал дядя Славик. Профессор!

В словах промелькнул оттенок презрения и застарелой родственной вражды.

— Уж и дядя! — сказал я в тон.

— Вы знаете? Действительно... Когда Славик окончил школу, я попросила брата, чтобы устроил его в институт. Знаете, он отказал. Родной двоюродный брат! Конечно, я женщина простая...

Вот здесь я почувствовал неожиданную гордость, но там, где гордость, уже нет простоты.

— Получает большущие деньги, а живет... Откровенно сказать, хуже меня. Все тратит на какие-то экспедиции...

Мне захотелось прервать поток глупых слов. Не в этом ли причина разлада, происходившего в душе парня? Бессребреник был представлен в его глазах чудачком и скопидомом. И тут же рядом — торжествующее мещанское благополучие...

— Как вы думаете, Славик скоро вернется? — спросила она так, будто ее сынок, решив пошалить, запрятался в багажнике моей машины.

В том же доме я отыскал приятеля Юрского, восемнадцатилетнего Алешку, застенчивого веснушчатого парня.

— Мы со Славкой редко встречались последнее время, — сказал он.

— Может, он уехал, чтобы устроиться матросом? Вы ведь с ним хотели во флот?

— Если бы матросом, то пошел бы со мной работать в порт. Я на буксир устроился пока. А в военкомате обещали, что возьмут в военно-морские...

— А он?

— «Ерунда, — говорит, — Не хочу, мол, размениваться по мелочам. Вы еще обо мне, — говорит, — услышите!»

Дядя жил недалеко от Аничкова моста. Не доезжая нескольких остановок, я вышел из троллейбуса. В запасе оставалось еще по крайней мере полчаса, а Ленинград создан для неспешной ходьбы. Как поэзия, он не терпит суеты.

Легкие контуры каменных громад вставали, как мираж, как облик задумчивой и благостной земли. Япил ленинградский воздух и завидовал людям, для которых эти улицы были домом.

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы особенно опасна». Надпись, оставшаяся с давних времен, ворвалась в тихий мир, как снаряд, полет которого потребовал двадцати лет.

Но в барочных завитушках дворцов гнездились и ворковали голуби. Колоннады Казанского собора охватывали толпу, словно две руки. Зеленые, округлые кроны лип были легки и, казалось, вот-вот поднимутся к небу, как стайка воздушных шариков...

Эти улицы рождали ощущение, что весь мир полон гармонии и покоя.

Близ Гостиного двора была толчея, здесь царило ощущение вечного праздника.

Я не знал, что несколько дней назад в то же полуденное время тот же перекресток пересекал человек по фамилии Лишайников. За ним шли по пятам, и этот человек вскочил в спасительный магазин, сумев оторваться на некоторое время от преследования.

В его распоряжении было лишь несколько минут. Чем дальше уходил он в гомоне и суете, тем уже становилось свободное пространство. Единственное, что он мог сделать, — уничтожить

пленки с кадрами, сделанными на военном объекте. Лишайников не зря считался хорошим работником у тех, кто дал ему задание. Он думал только о пленках, которые достались ему нелегко и на которые давно возлагали надежды там, за тысячи километров. Специальный связной, законспирированный, надежный, ждал «материал».

Когда, поднявшись на третий этаж, преследуемый увидел Грачика, мелкого фарцовщика и спекулянта, однажды оказавшего Лишайникову услугу, он не колебался ни секунды и сделал не предусмотренный правилами ход...

Если бы мне было известно все это, то, проходя мимо Гостиного двора, я бы почувствовал, как среди праздничного оживления пахнуло войной. Исчезали с Аничкова моста клодтовские кони. Мемориальная надпись на Невском становилась грозным реальным предупреждением. Призрак дистрофии и холода надвигался на великолепный город.

Он, Лишайников, пришел оттуда, из двадцатилетней давности, из войны. Он нес с собой беду.

Но я ничего не знал ни о Лишайникове, ни о его миссии. Я шел по Невскому, разглядывая дома и витрины, и думал о Ленинграде, Юрском и о себе.

Профессор был до того худ и бледен, что воспринимался как плоскостное изображение, сошедшее с одной из многочисленных икон, висевших на стенах мастерской. На вид ему было лет шестьдесят. Кожа на руках просвечивала, открывая синий узор вен. Наверняка он был один из тех, кто еще с рождением получает в пожизненный дар полдюжину хронических болезней, но благодаря неистовости духа и увлеченности умудряется дожить до восьмидесяти и успевает сделать то, что не под силу взводу здоровяков.

— Я из милиции, — сказал я. Незачем было разыгрывать спектакль перед этим человеком.

— Что-нибудь известно о мальчике? — спросил профессор.

— Пока ничего. У меня не совсем официальный визит. Хотелось бы поговорить... Скажите, как исчезло «Благовещение»? И что это за икона?

— Икона стояла вот здесь.

Он указал на дощатый столик в углу. Я понял, что даже этот столик остается в его глазах святыней.

— «Благовещение» было моим самым большим открытием. Когда ко мне пришел Станислав, я говорил ему об этом. И не поверил глазам, когда, вернувшись, не увидел ни племянника, ни иконы. Ждал до полуночи: может, мальчик одумается. Потом отправился к сестре, и она передала записку: «Дядюшка, ты еще найдешь что-нибудь, а я не могу упустить единственный шанс».

Сигарета дрожала и никак не хотела входить в мундштук.

— Видиге ли, «Благовещение» попало мне в руки в облике довольной заурядной иконы. Но я обратил внимание на поля. Обычно чем древнее икона, тем уже поля... И доска была рублена топором по-особому, по-новгородски, как это делали в двенадцатом-тринадцатом веках... Несколько глубоких трещин, возникших несмотря на то, что доска была скреплена гвоздями, — опять-

таки очень старой поковки гвоздями. Краски положены не на холст, а на алебастр. Пришлось делать рентген. Оказалось, под верхним слоем красок еще два. Почти полтора года ушло на то, чтобы снять верхние слои и открыть настоящее чудо — «Благовещение», работу мастеров двенадцатого века. Это была уникальная икона, равных я не знаю... Мне оставалось поработать над ней самую малость.

Мастерская медленно погружалась в сумерки. Сухие лица святых смотрели на нас со стен и, чем темнее становилось в комнате, тем ярче разгорались их нечеловеческие глаза. Старинные часы пробили восемь, и при каждом ударе у совы, сидевшей поверх циферблата, хлопали веки. Я подумал о Юрском. Неужели его нисколько не волновал этот загадочный мир?

— Ваш племянник часто бывал здесь?

— Последние три года очень редко.

— Почему?

— Не знаю. Появились другие интересы, «улица».

— Вы не пробовали взять его с собой в экспедицию?

— Нет, он ведь не очень... — Профессор посмотрел на меня. —



Да, я понимаю. Спросите, кто живет на втором этаже, надо мной, и я не отвечу. Находишь прошлое, но теряешь человека, который рядом. Нет, я не жалею. Только об одном прошу: не дайте пропасть мальчику. Бог с ним, с «Благовещением».

— Станислав знал о фантастической стоимости иконы?

— Спросил как-то. В принципе цены никто не знает. Но две подобные иконы хранятся у коллекционеров. В Лондоне, Сан-Франциско. Их стоимость известна. Отсюда аналогии.

— Вы думаете, им руководила только жажда денег?

— Не думаю. Его возраст скорее романтический, чем меркантильный. Жажда необычного может толкнуть человека и на хорошее и на дурное.

Сухое, туго обтянутое пергаментной кожей лицо профессора желтело в сумерках, словно бы освещенное изнутри свечой.

— Скажите, профессор, способен рядовой знаток искусства определить уникальность этой иконы?

— Тут нужны специальные знания.

— У вас есть знакомые в Нью-Йорке? — спросил я, называя город, который стал теперь местом моей работы.

— Нет. Хотя. Кажется, туда переехал Копосев. Такой маленький человечек с вислой челюстью. Да, да..

Не было ни гроша, да вдруг алтын! Снова я наткнулся на загадочного Копосева. Не слишком ли часто этот тип переходит улицу при красном свете?

— Он что же, реставратор?

— Да нет. Доставал мне и коллегам химикаты, краски,



всякие там штихеля. Не всегда ведь найдешь, что нужно. Ну, а Копосев большой дока по экспорту-импорту. Разумеется, не из бескорыстной любви к искусству.

— Копосев знал о вашей находке и ее ценности?

— Знал.

Профессор проводил меня до дверей. Рука его была холодна. Он казался очень одиноким в огромной, гемной мастерской.

— Ищите не икону, — сказал он тихо. — Ищите мальчика.

9

Сидя на жесткой лавке в гулком, залитом неоновым светом зале аэропорта, я думал о том, что последние слова профессора, прозвучавшие как робкая просьба, довольно точно определяли линию расследования. Предстояло искать не преступника, увезшего драгоценную икону, а жертву.

Прежняя версия имела в виду не реального преступника, а мажорант умозрительно сконструированного злодея. Теперь же, после всех ленинградских встреч, я пришел к выводу, что Юрский, как бы ни испортила его «улица», не был способен на изощренное, продуманное убийство. Как итог напрашивалась четкая альтернатива: если Юрский не убийца, то он жертва, иначе как объяснить его исчезновение? На сцене появилось главное действующее лицо, настоящий преступник, убийца, для которого Юрский был такой же помехой, как и Маврухин.

— Эх, сопляк, сопляк! — повторял я, чувствуя свою беспомощность перед лицом хитроумного преступления. — Флибустьерские замашки, акваланг, записочки, оставленные родственникам, прозрачные мечты о Рио и белых штанах. Ты затеял какую-то детскую игру и не заметил, что попал к серьезным игрокам. Для них ты — пешка. Смахнут с доски, как пушинку.

Ты хотел избавиться от дисциплины, которую требовало общество, от ее строгости, необходимости.. Сделав всего лишь один шаг туда, в непонятную, казавшуюся заманчивой уголовную стихию. И стал преступником. Поставил себя вне общества. Исчезла строгая, но защитительная сила его законов.

Кто виноват? Кто мог удержать? Рядом были два близких человека, но одному не хватало ума и, может быть, порядочности, другому, умному и порядочному, не хватало времени.

...С невеселыми мыслями я улетел из Ленинграда. Я получил ответ на главный вопрос. Юрский не мог стать убийцей. Но жив ли он?

Я прилетел утром и тотчас позвонил Шиковцу.

— Какой же следует вывод? — спросил он.

— Копосев. Через него должна проходить ниточка.

— Нег. Не должна и не проходит. У него алиби. Алиби у всех, кто был связан с ним и с Маврухиным.

Что же, искать убийцу опять-таки на теплоходе, среди «честверки»? С этим я не мог согласиться.

— «Благовещение», во всяком случае, находится у того, кто сумел избавиться и от Маврухина и от Юрского. У «третьего».

Шиковец молчал. «Третий» звучит красиво, но слишком не-

определенно. Я упрямо продолжал строить сложную конструкцию из детских кубиков.

— Не исключено, что Юрский погиб еще раньше, чем... Тот «третий» мог убрать его сообщая с Маврухиным, а затем уже... Не только преступника надо искать. Но где и как могли расправиться с Юрским?

Все это походило на мучительный экзамен, когда не знаешь билета, но все-таки отвечаешь, надеясь на случайную подсказку памяти.

— Помните загадочный пожар на причале? Зачем Маврухину было нужно, чтобы «Онега» ушла подальше от этого причала? Быть может, именно на этом месте...

— Понял, — прервал капитан. — Немедленно договорюсь с начальником подводных работ. Его фамилия Стырчук. Бородастый. Подключайся.

Шиковец повесил трубку. Он был деловым человеком. Все мои нерешительные рассуждения он превратил в четкое действие. Теперь, прежде чем вернуться к старой версии, он сделает все, о чем я попрошу, чтобы по крайней мере убедиться в несостоятельности моих выводов.

— Как слетал? — спросил Валера.

— Прекрасно. Ты все еще дежуришь?

— Вместо механика. Ложко только что пришел. Они с Машуткой перевернулись в заливе. К счастью, на мелком. Но все вещи утопили. И гитара уплыла.

— Бедняги!

— Ничего, гитару мы подберем, когда отправимся в рейс, — рассмеялся Валера. — Это по пути, возле бакенов Зайди в камбуз.

Кастрюля с гречневой кашей, завернутая в полотенце, еще хранила тепло. Рядом лежала записка Прошкус: «Кампот вбитоне в холодильнике» Заботливый «боцман»..

Через час я был у второго причала, где когда-то загорелась бочка с ветошью. Неподалеку покачивался небольшой катерок. Окна его вспыхивали солнечными зайчиками. В этой части затона над всеми сооружениями господствовал старый форт. Темно-коричневый, с округлой центральной башней и расходящимися во все стороны стенами-ходами, он был похож на гигантского краба.

На корме катерка одевали водолаза. Командовал загорелый бородастый человек. Это и был Стырчук.

— Я не говорил ребятам, что мы ищем, — сказал Стырчук, когда мы отошли в сторону. — Если в воде тело, то они обнаружат. Акваланг знаете?

Я показал удостоверение инструктора.

— Ладно. Тогда провожатого давать не будем. Просто последим за буйком. Советую надеть гидрокостюм.

Он помог залезть в резиновую, обтягивающую тело шкуру и укрепил баллоны.

— Не увлекайтесь, следите за давлением!

Я прошлепал ластами по палубе.

— И еще. Пирс возле форта довольно странный. Колонны, ла-

вы какие-то, выступления. Так что не суйтесь без толку, не то вернем обратно.

Взяв загубник, я медленно опустился в темную воду залива. Солнце превратилось в яичный желток, а затем и вовсе исчезло. Ощущение невесомости охватило меня.

Свет слабо проникал на дно. Шум от десятков двигателей сливался в немыслимую какофонию. К этому грохоту постоянным рефреном примешивалось бульканье воздуха, выталкиваемого легочным автоматом.

В стороне двигались два светлых пятна: водолазы равномерно, шаг за шагом, осматривали район. Я остался в стороне, помалу работая ластами. Дно было захламленным: очевидно, после окончания войны его прочистили кое-как, выволокли снаряды и мины, а главную работу оставили до генеральной реконструкции этого участка порта.

Как Юрский отыскивал в такой темной воде «Онегу», когда приплывал заряжать баллоны? Наверное, проложил шнур либо расставил какие-то «вешки». Однако ничего подобного на дне затона я не обнаружил.

Незаметно я приблизился к основанию пирса. В зыбком свете чередой мной выступила фантастическая колоннада из выщербленных, изъеденных водой железобетонных свай. Шевелились, словно змеи, нити водорослей, приросших к бетону. За колоннадой угадывались какие-то металлические конструкции с острыми, оборванными краями. Очевидно, они были повреждены взрывами.

Разумеется, водолазы не могли обследовать пространство за сваями. Им удобно работать на свободном грунте. Лезть в эту металлическую кашу — все равно что в сети. К тому же водолаз не любит работать «под крышей» — если рубашка переполнится воздухом, его прижмет к потолку, и он станет беспомощным, словно муха, попавшая на клейкую бумагу.

Если тело затолкали сюда... Нет, вопреки предупреждению Стырчука я должен осмотреть этот район.

Срезав ножом капроновый шнур — он вел к буйку, за которым следили наверху, — я привязал его к старому якорю, глубоко уткнувшемуся в ил. Пусть Стырчук думает, что аквалангист присел на дне и занимается криминалистическими исследованиями.

Затем протиснулся между сваями под пирс. Здесь было совсем темно. Навстречу вытянулись два железных шупальца арматуры. Они едва не вцепились в гофрированные трубки. Пришлось опуститься поглубже. Дальше снова шли колонны, двумя рядами как будто отделяя нефть какой-то затопленной базилики. Некоторые колонны были разрушены, остатки их напоминали полусгоревшие свечи. Железные прутья торчали как фитили.

На одной из свай блеснуло светлое пятно. Посветив фонарем вплотную, я увидел дощечку из нержавеющей металла с выпуклым изображением бычьей головы. Должно быть, это была эмблема строительной фирмы. Через несколько метров я уперся в сплошную стенку, в которой темнело несколько дыр. И опять здесь поблескивала табличка с головой быка.

Мальчишеское любопытство толкнуло на необдуманный поступок... Я сделал легкое движение ластами и скользнул в темный лаз. Акваланг царапнул по бетонному потолку — этот звук



показался оглушительным, как грохот камнепада. Я опомнился. Если ход сузится, из ловушки не выбраться. Осторожно отталкиваясь руками, я понял, как рак и выскочил из норы. Не имея точного плана, нечего было соваться в этот подводный лабиринт.

А что там наверху, какое основание поддерживают бетонные сваи? Форт. Да, форт. Стена с бойницами обрывается в метрах семи от воды, а эти семь метров я как раз проплыл между колоннами.

Тут я увидел капроновую бечевку. Конец ее скрывался в одном из темных отверстий, неподалеку от дощечки с изображением бычьей головы.

Я уцепился за бечевку, потянул, и она неожиданно легко выскользнула из входа в подводную пещеру. В руке оказался лишь трехметровый обрывок. Куда вела эта путеводная нить?

Я вынырнул в двух метрах от катера, держа в руке капроновый шнур. Дюжие ребята втащили меня на борт.

— Очень хорошо, — стиснув зубы, произнес темнолицый Стырчук. — Значит, играем в «нетушки»?

Неподалеку, выделяясь оранжевой окраской на темной воде, колыхался буюк. Совсем забыл о своей уловке!

— Или, может, вы раздвоились? — спросил старшина водолазов. — Один остался там, а другой вышел подышать?

Помощники Стырчука рассмеялись.

— Ладно, — сказал бородач. — Запрещаю спускаться вторично.

Находка искупала все неприятности. Я осмотрел шнур. Не требовалось экспертизы для того, чтобы установить причину обрыва: витой капрон был подрезан ножом так, что целыми оставались лишь несколько жилок. Они-то и лопнули, как только я приложил усилие.

— Никогда бечевки не видели? — спросил Стырчук.

— Она капроновая!

— Так что же?

Я рассказал о том, где нашел шнур.

— Странно! Кто втянул ее в этот ход? И вообще кто там ползал до вас?

— Не могла же остаться веревка еще с войны?

— Капрон!

Мы перешли на нос и уселись на бухту толстого каната.

— Послушайте, это все серьезное дело? — спросил Стырчук.

Он посмотрел на коричневый разлапистый форт.

— Если б у меня был план подводных сооружений, я бы поднырнул, подразведаль.

— Такого плана ни у кого нет?

— Говорят, были два или три экземпляра. Фашисты, отступая, увезли с собой или уничтожили. Там в форту пять или шесть подземных этажей, и все затоплены.

— Откачать невозможно?

— Без плана никак. Принцип сообщающихся сосудов... А где они сообщаются — неизвестно. Лезть наобум нельзя, строители все предусмотрели и создали лабиринт со всякими ловушками. Одного водолаза мы уже загубили там. Корешок был. Войну вместе отгрохали.

Форт смотрел на нас немymi глазами амбразур. Березки, прилепившиеся к выбоинам, мирно шелестели листвою.

— Кто его знает, что еще там таится в подземных этажах, — сказал Стырчук. — Про Янтарную комнату слышали?

Но не Янтарная комната сейчас занимала меня. Капроновый шнур! Это не случайная находка. Не случайно и то, что свидание Маврухина с Юрским состоялось именно у этого причала, где форт вплотную подходил к затону.

Я вспомнил, что Шиковец рассказывал о теплых свитерах и ватнике, которые купил Маврухин для Юрского. Их не нашли в трюме катера, где первые дни скрывался беглец. Почему он прихватил эти вещи с собою? Ночи сейчас стоят теплые, а таскать по городу узел небезопасно — постовые обратят внимание. Видно, новое убежище, куда направился Юрский (или куда его заманили), было особенно холодным и влажным. И как раз старый затопленный форт...

Что, если под пирсом, в каком-либо закоулке подземных и подводных коммуникаций оборудовано убежище, а катер только для отвода глаз?

Но, значит, Маврухин или его убийца знали схему потайных помещений? Откуда? Может быть, объяснение скрывалось в прошлом Маврухина, когда он был «шпажистом» и бродил по развалинам со щупом...

— Можно пробраться в форт посуху?

— Это нетрудно. Но большинство помещений отрезано водой, — сказал Стырчук.

Он посмотрел на часы.

— Водолазам скоро возвращаться. А я вот что... я все-таки поднырну под пирс. Туда, где вы были. Взгляну.

— Как же техника безопасности?

— Не беспокойтесь, вернусь. Я без акваланга, с маской. На минутку.

Он снял с себя фланельку и тельняшку, открыв выпуклую атлетическую грудь, которая в свое время, очевидно, послужила классной доской для какого-то начинающего гатуировщика.

«А ведь под пирс и в самом деле можно проникнуть и без акваланга, — подумал я. — Если человек тренирован и легкие вместительны, достаточно тридцати-сорока секунд, чтобы вынырнуть где-то там, в форту. Конечно, для этого надо хорошо знать лаз и не бояться».

Ровно через минуту Стырчук, пыхтя, взобрался на борт и топливо надел тельняшку.

— Бесполезное дело! Видел я таблички с быками и этот ход. А дальше что? Пускать человека в узкий лаз? А если зажмет? Или — решетка на пути, а развернуться негде?

Он выжал бороду в ладони, словно мочалку, и стряхнул влагу на пол.

— Если б откачать водичку. Да где там!

Вскоре из воды показались шлемы. Водолазы доложили, что дно — второй степени захламленности, началось загнивание, и необходима чистка. Обнаружен снаряд калибра сто тридцать восемь.

— Как видите, ничего для вас, — пояснил бородач.

«Кайзеровский» форт охраняла Устинья Ивановна, старушка пенсионного возраста с берданкой. Поднатужась, она открыла железную калитку.

Я очутился в небольшом мощеном дворе, со всех сторон окруженном стенами. После войны форт был успешно захвачен горпродторгом, который намеревался устроить здесь овощехранилище. Вскоре выяснилось, что овощи не выдерживают сырости. Однако форт уже числился на балансе горпродторга, за него надо было отвечать. На всякий случай у главных ворот выстроили сторожку.

— Одевайтесь потеплее, — предупредила старуха. — И веревочку возьмите.

— Зачем?

— Разматывать будете. А то, не дай бог, заблудитесь.

Итак, в обличье сторожихи мне явилась Ариадна...

— Улыбайтесь! — Устинья Ивановна приблизилась ко мне, как мрачный вестник зимы в своем тулупе. — А не страшно? Ведь в крепости нехорошо.

— Как нехорошо?

— Ну, свистит кто-то. Зовет.

— Это вентиляция. — сказал я авторитетно, как «инспектор по надзору за строениями».

Старушка, тертый калач, начальству возражать не стала.

— Ага, вентиляция, — сказала она, прищурив глаз. — Вот и хорошо. А я-то, дура, думаю — что оно свистит?

Открыв железную дверь на запорах-вентилях, словно в подводной лодке, я окунулся в темноту. Пришлось включить фонарик. Первый зал был довольно чист и высок.

По-настоящему сюда следовало послать отряд подготовленных спелеологов. Но не было времени собирать этот отряд.

Я быстро сориентировался и направился к западной стороне зала, той, что ближе к затону. Отсюда нужно было найти ход в галерею, которая заканчивалась близ второго причала. В стене зиял дверной проем. Я вышел в длинный коридор.

Пол здесь был завален выпавшими кирпичами, темнели натеки. Коридор постепенно понижался. Стали попадаться зеленоватые лужи и пятна слизи, как в заброшенной шахте. То справа, то слева темнели ниши, которые могли быть и ходами.

Вскоре уткнулся в железную дверь. Подналег. Ржавчина посыпалась, как иней, и дверь со скрежетом открылась.

Комната была с глухими стенами, квадратная, и у каждого угла в полу зияло отверстие. Подойдя поближе, я увидел, что это наклонные ходы, с бетонными лестницами, но заполненные водой.

Оставалось поискать другие подступы к затону. Я вернулся к двери и только теперь обратил внимание на кольцо, служившее ручкой. Оно было продето в морду чугунного быка! В подводных барельефах и в этой отливке чувствовалась одна и та же манера стилизации, одна и та же рука.

Быть может, зал имел какое-то отношение к подводному ходу и строители использовали этот символ как подсказку для тех, кому придется скрытно оставлять форт или входить в него?.. За-

крыв дверь, я принялся искать новые пути, которые вывели бы к заливу. Фонарик осветил выбитые ступеньки. Поднялся на «второй этаж» — и здесь был коридор, но не темный, как внизу, а светлый, с двумя рядами амбразур по обе стороны. И через двадцать метров — кирпичная стена.

Внизу сквозь амбразуру был виден внутренний дворик, разделенный двумя рвами. Очевидно, строители предусмотрели, что бой может идти и в самой крепости. Поэтому выкопали рвы и перегородили коридоры неожиданными кирпичными заслонками. Наверно, на глубине у них был пульт управления. Поворот рычага — и вода заливает западное крыло. Еще поворот — восточное...

Высунувшись до пояса, я увидел и дальше ряд амбразур — значит, за перегородкой коридор продолжался. Если перелезть к следующей бойнице... До земли было метров девять. Гладкую кирпичную стену выщербил осколок, а над головой, вцепившись корнями в щели, росла березка.

Надежда на скорое разрешение загадки была иллюзорна, а булыжник под отвесной стеной реален настолько, насколько может быть реален булыжник. Но не отступать же!

Туфли я засунул в карманы. Затем выполз наружу и нащупал босыми пальцами выбоину. Теперь все зависело от прочности березки. Я плотно прижался к стене грудью. Пальцы ног едва умещались в углублении, выбитом снарядом. Ухватив ветви березки, несколько раз дернул.

Березка не поддавалась, держала. Удивительно, как немного надо, чтобы возникло живое — горсть кирпичных обломков, пыль, нанесенная ветром, несколько дождевых капель, расщелина, чтобы запустить корни — и готово, растет, и еще камни рушит мягким древесным телом... Потихоньку сместился ко второй амбразуре, переступая по краю выбоины. Запустил свободную руку поглубже, ухватил закраину и перелез.

Передо мной был все тот же коридор — только тупик оставался позади. Пройдя немного, я выглянул наружу и увидел синеву затона, перечеркнутую прямыми линиями мачт. Курс был правильный.

Коридор круто пошел вниз, в темноту. Я включил фонарик и сделал это вовремя: в тусклом свете возникла широкая, словно шахтный ствол, дыра. Железная крыша висела на одной петле, гостеприимно открывая черноту провала. А за провалом — стена.

Я спустился по скобам на дно бетонного колодца, но не обнаружил нового хода, который вывел бы к затону.

Забавно... Где-то неподалеку грохочут трамваи, гудит человеческий улей, парни в узких брючках, атлетические парни шестидесятых годов возвращаются с работы.

А здесь вот — форт, гигантский осколок в теле города.

Я постучал ладонью по бетону. Что с тобой делать, форт? Отозвалось эхо, и тут я, прислушиваясь, различил сквозь гул эха тихий свист. Как будто кто-то, долгие годы просидевший взаперти, не смея выйти, напоминал о себе. Я вспомнил предупреждение бабки Устины.

В таких ситуациях необходимо прежде всего справиться с собственным воображением. Я ухватил выползшую было мыслишку

о «ком-то» и придавил, пока она не окрепла. «Кто-то» не станет свистеть, он либо примолкнет, либо скажет «здравствуйте», либо бросит кирпич на голову — все зависит от его отношения к названному гостю и темперамента.

Стало быть, свистел сквозняк: в бетонном колодце есть боковое отверстие, и оно ведет вверх, к воздуху. Вскрабавшись по скобам до середины колодца, я обнаружил узкий лаз. Втиснулся в него, стараясь вспомнить все, что читал о спелеологах. Существует ведь техника ползания в узких лазах. Кажется, в таких случаях нужно выбрасывать вперед правую руку с фонариком, а левую прижимать под грудь: тогда плечи перекашиваются и тело становится как бы уже. Левая подгребает, словно лапа крота...

Я попробовал. Получилось. Нет, действительно сыщик должен знать «все плюс единица»! Самые случайные, отрывочные сведения могут вдруг пригодиться.

Навстречу дул легкий ветерок, пахнувший плесенью. Ход расширился и вывел меня в просторную комнату. Из маленького, с ладонь, люминария в потолке падал свет. Единственная дверь была закрыта. Я подналег плечом и ощутил, что засовы держат не так уж надежно. Если удастся найти какой-либо железный прут, использовать его как рычаг...

Я пошел вдоль стен и неожиданно вздрогнул, коснувшись головой чего-то мягкого, холодного и живого. Инстинктивно отпрыгнул в сторону, навел фонарь.

Под металлической балкой связкой бананов висели летучие мыши. Одна из них оторвалась словно плод и, так и не проснувшись, мягким комочком стукнулась о пол. Поднялись писк и резкие крики.

. Наконец мне удалось найти толстую металлическую рейку. Дверь подалась, и я чуть не влетел головой вперед в новый зал. Он был примерно таких же размеров, как и тот, что остался за спиной. К балке точно так же, связкой, прилепились нетопыри. Только здесь не было ни одного отверстия, сквозь которое проникал бы свет.

Это была конечная остановка в маршруте: два бетонных колодца, залитых водой, и — ни щели, ни второй двери. Я находился где-то близко от затона, возможно в одном из отсеков той приземистой башни, которая смотрела амбразурами на стоявшие в порту суда.

И снова на внутренней стороне двери — рукоять с кольцом и мордой быка! Чуть выше с трудом можно было разобрать сделанную мелом надпись: «Wir gehen.. aber kommen wieder...». «Уходим... но вернемся». Примерно так следовало се перевести. Подпись и дата: «4. 2. 45.»

Посветил в бетонный колодец — на темной, зеленой воде плавали щепки.. Интересно, как они уходили, — те, кто собирался вернуться?

Прошелся вдоль стены. Раздался негодующий писк. Рука с фонарем замерла, едва луч коснулся темной грозди. Летучие мыши... Почему я сразу не подумал об этом? Ведь они целой колонией гнездятся в закрытом помещении!

Здесь ни одного отверстия, дверь была закрыта. Как очутились в зале нетопыри? При чем обжились они давно — пол под



железной балкой был покрыт
слоем помета.

Единственное объяснение:
еще недавно дверь была отво-
рена, иначе нетопыри могли
подохнуть, лишенные доступа
свежего воздуха и пищи Сей-
час не время зимнего анабиоза.
Кто-то прикрыл дверь с
внутренней стороны! Кто-
то ушел из комнаты, где не
было даже щели для летучей
мыши. Значит, человек ушел
под воду, в бетонный колодец.
Он знал кратчайший выход
отсюда. Выход к пирсу?

11

— Ишь ты, — сказала сто-
рожиха — Живой!

— Форт в неплохом состоя-
нии, — ответил я, счищая
грязь и кирпичную пыль

— Стережем!

— Больше в форт никак
нельзя пройти — только через
эти ворота?

— Есть ходы! — махнула
рукой бабка. — Ребятишки
иной раз лазают с улицы. А
го и пьяный ночевать забе-
рется. Не уследишь, товарищ
инспектор.

Подводные и подземные
изыскания порядком вымотали
меня, поэтому, увидев непода-
леку закусную «Стадион», я
остановился, как та ученая
лошадь, которая никогда не
проезжала мимо трактира.
«Стадион» славился пивом —
бочки доставляли прямо из за-
водских подвалов. В осталь-
ном это была ничем не приме-
чательная закусовая, скоро-
спелое детище модерна.

Официантка принесла пиво
в запотевшей кружке. Кругом
шумела бойкая клиентура. В
этой закусной, по словам
Шиковца, Юрский впервые
встретился с Маврухиным.

Здесь же Копосев засвидетельствовал свое алиби. В двадцать два сорок пять в день убийства его видели за столиком.

Сквозь застекленную, с металлическими переплетами стену закуской были видны стрельчатые готические башенки над воротами форта. Отсюда до крепости сотня шагов.

А до причалов?.. Ответ на этот вопрос и служил обоснованием для алиби. Убийство, по нашим расчетам и данным экспертизы, произошло в двадцать два сорок пять. Допускалось отклонение в плюс-минус пятнадцать минут. Это отклонение не мешало признать алиби Копосева. Единственный путь к стоянке «Онеги» и «Ладоги» лежит через главные портовые ворота, и преодолеть его за четверть часа невозможно, даже будучи хорошо тренированным бегуном.

Но теперь-то я знал, что мог существовать и второй, гораздо более короткий путь: через форт и бетонные колодцы. Не исключено, что подготовленный человек способен, покинув причал, через семь-десять минут очутиться близ «Стадиона».

Конечно, это сопряжено со многими трудностями. И все-таки алиби уже нельзя считать чистым. Четверть часа — допуск небольшой, и в ином деле он не играл бы роли. Но сейчас он мог стать тем самым неправильно положенным кирпичом, из-за которого рушится все здание.

Я расплатился, вышел из закуской и поднялся на парковую горку. Отсюда несколько дней назад я смотрел на китобойцев. Сейчас скамейка была пуста, старички шахматисты взяли тайм-аут, а викинг, должно быть, успел открывать Гренландию. Казалось, эта случайная встреча произошла давным-давно и принадлежала другому миру — тихому и неспешному.

Было пять часов. К полуночи я должен явиться в порт, а завтра «Онега» уйдет в свой тринадцатый рейс. И я оставляю дело, для раскрытия которого, возможно, не хватает лишь одной детали! Не успеть... Но хоть какую-то зацепку нужно оставить Шикову.

Если бы удалось более точно определить время убийства, многое прояснилось бы. Мы знали бы наверняка, подтверждается алиби или нет.

Я еще раз вернулся к тому трагическому вечеру. Не промелькнет ли все-таки подсказка?.. Вот я подхожу к причалу. Смеркается. Сумерки в эту пору наступают примерно в начале одиннадцатого. Посидев немного близ «Онеги», поднимаюсь на борт. Становится совсем темно. Разговор с Карен длится пять-десять минут. Затем на протяжении примерно двадцати минут Марк Вальерий демонстрирует свой киноопус. «Примерно», «примерно»!.

Убийство могло произойти только в то время, когда я был в каюте. Но... когда я был в каюте? Стоп. Восстановим все подробности. Вот начинается фильм под неистовое «звуковое сопровождение» Васи Ложко. На экране появляется незнакомый город. Суета «Ча-ча-ча!» — вопит приемник у механика. Команда отправляется на прогулку, Валера объясняет, что Маврухин остался на судне. Следующие кадры — знакомство с фрау Кранц. Она вплывает в экран под ясные, торжественные звуки... вальса, полонеза... Нет, менуэта. Да, да, галантного менуэта, мелодия которого с характерным трехтактным ритмом странно сочеталась со строгой арией.

Я вытер пот с лица. А если все-таки попробовать вспомнить, как вспоминал я когда-то, тренируя память, темы Пасторальной? Может быть, удалось бы по этой мелодии «открыть» само произведение, а затем, просмотрев радиопрограммы, установить и время...

Музыка была настоящей, глубокой, она не могла скользнуть мимо программы, как фон, наподобие тех скороспелых легких мелодий, которые звучат в антракте между новостями.

Черт возьми, ведь есть же люди, которые без труда, по одной лишь инструментовке, по почерку, способны назвать композитора. Окажись на моем месте такой знаток, он был бы для угрозыска полезнее, чем дюжина бойких Черновых, которым кажется, что, овладев приемами дзю-до, они готовы облагодетельствовать человечество.

«Вспомни! — приказал я себе. — Максимальное сосредоточение, ну!»

Мысль, восстанавливающая прошлое, иглой вошла в мозг. Та музыка... Та музыка... Прозрачная, наивная, чистая. В ней была подкупающая «досимфоническая» простота... Да-да... Люлли, Глюк, Гендель, Перголези... Кто-то из «ранних», наверное.

Кажется, голоса скрипки и виолончели. Может быть, струнный квинтет. Легкий голосок чембалы. И — неожиданная ария, неожиданная в своей строгости и возвышенности. «Эт экзультавит...» Два слова возникли в памяти. Через минуту я мог пропеть фразу, укладывающуюся в трехтактный ритм. «Эт эк-зуль-та-авит...» Но здесь мелодия обрывалась и продолжение ее никак не шло на ум. «Эт эк-зуль-та-авит...»

Латынь. Язык ораторий и месс. Но при чем здесь менуэт? Впрочем, в восемнадцатом веке менуэт часто встречался в любой композиции.

Я окончательно запутался. Однако струнное вступление и женский голос не шли из головы. Если бы еще раз услышать тот небольшой музыкальный отрывок, я без труда узнал бы его, как свидетель, который не в силах описать портрет человека, сразу узнает его в лицо.

С парковой горки, не мешкая, я направился в магазин грампластинок. До закрытия «Мелодии» оставалось около часа, но у дверей все еще толпилась очередь, в основном женщины с ребятами. Они приходили сюда, в студию, записывать голоса. Потом эти голоса, овеществленные в черных гибких кружках, укладывались в чемоданы мужей, а мужья увозили их в плавание.

У прилавка я увидел Машутку в темном переднике со значком фирмы. Она испугалась, увидев меня, захлопала ресницами, как-то по-детски вытянула тонкую шею.

— Что-нибудь случилось? Почему ты не на «Онеге»?

Я успокоил ее, сказав, что Вася Ложко жив-здоров и цвет лица его не изменился за истекшие полсуток.

— Мне нужна свободная кабина. И пластинки. Выберу по списку. Меня интересует семнадцатый-восемнадцатый века. Кантаты, оратории.

В кабине стояло мягкое, уютное кресло. Машутка внесла стопку пластинок. Среди них удалось отыскать «Stabat mater» Перголези. Я пропустил первую, хоровую часть и начал с арии, в которой солировало сопрано.

Нет, в каюте Марка Валерия я слышал не Перголези, хотя родственные нити были ощутимы. Я не мог объяснить, в чем отличие, я уловил его дилетантским инстинктом. Музыка, которая мягко звучала сейчас в динамике, казалась чем-то близкой порывистому и нежному Моцарту, а та, что трепетала в памяти, была грубее, прямолинейнее и вместе с тем глубже.

Потом я прослушал Генделя и Люлли. И снова все то же ощущение родства и — несомненного отличия. Я словно блуждал вслепую, вытянув руки, где-то близко от того, что искал, но для незрячего такие поиски могут длиться годами.

Выбор пластинок Баха был невелик. Я поставил первый Бранденбургский, ту заключительную часть, которая написана в форме менуэта. Солировал гобой — не женский голос, — и мелодия была иная, лишенная религиозной строгости, но все-таки я почувствовал, что на этот раз не ошибся в выборе композитора. За Бранденбургским прослушал концерт для клавесина, все более убеждаясь, что нахожусь на правильном пути: Бах, только он, с его наивным, грубоватым реализмом и мистической отрешенностью...

Отдернув штору, я увидел пустой зал и продавщиц, которые завывали косыночки у зеркала.

— Возьми пластинки на «Онегу», — сказала Машутка. — А хочешь, перепиши на пленку. У Васи отличный магнитофон «Филипс». Будешь слушать в рейсе. Вася с удовольствием поможет. Вася тоже любит музыку. Вася...

— Я ишу лишь одну пластинку Баха. Но здесь ее нет.

— Ты так увлекаешься серьезной музыкой?

— Вот если бы зайти к кому-нибудь из коллекционеров... — подумал я вслух. — Ты не подскажешь?

— Загляни к Борисоглебскому. Он и живет неподалеку. Очень хороший! Хромой: знаешь, от полиомиелита, с детства. Очень славный. Я провожу тебя.

Она щебетала без умолку. Я был для нее одним из достойнейших людей на свете, потому что работал на «Онеге», рядом с Васей.

Борисоглебский оказался безусым юнцом, рыжеволосым и приветливым. Он прыгал на костылях, как подбитая птица, от стеллажа к стеллажу, где рядами выстроились пластинки. Он был весел. В этом мире застывшей и готовой в любую секунду ожить музыки, в мире, где творил глухой Бетховен и вдохновенно импровизировал слепой Гендель, физическое несовершенство не значило ровным счетом ничего.

— Бах, вас интересует Бах! — повторил Борисоглебский, рассматривая надписи на полках. — Прекрасно. «Nicht Bach! Meer sollte er heissen»¹. Помните замечательное высказывание Бетховена?

¹ «Не ручей! Море ему имя» (нем.).

Он радовался мне как единомышленнику.

— Вы уверены, что отрывок, который вы слышали, написан в форме менуэта?

— Кажется, да. Два слова я разобрал: «Et exultavit».

Он умчался, подпрыгивая и взмахивая острыми, высоко поднятыми, как у всех калек, плечами, в соседнюю комнату, и через минуту выскочил оттуда, держа подбородком словарик. Несмотря на костыли, во всех движениях изуродованного болезнью парня сквозили энергия и изящество.

— «Et exultavit»... «И возрадовался»... Очевидно, культовая композиция! Давайте начнем с этого.

Мы выслушали одну из частей скорбной «Высокой мессы». У меня начали слипаться глаза, но Бах был здесь ни при чем. Сказывались злключения бурного дня.

— То была удивительно светлая мелодия, — пробормотал я, вслушиваясь в печальные вздохи хора.

Борисоглебский понимающе кивнул.

— Не знаю у Баха более светлой композиции, чем «Магнификат», — сказал он, перебирая пластинки на нижней полке. — У нас его не исполняют, но тут есть хорошая запись со шгут-гартским барок-хором...

Он опустил белую змейку адаптера на диск. Два хора — мужской и женский — начали причудливое полифоническое соревнование, скорее похожее на изящный придворный танец, чем религиозное песнопение.

— Что церковного в этом композиторе?

Но я не успел ответить. Первая, хоровая часть композиции закончилась, легкая, почти невесомая мелодия менуэта заполнила комнату, и, как естественное продолжение ее, из тонких струнных пассажей родилась ария: «Et exultavit spiritus mihi!»

Это была та самая ария! Навивная, исполненная веры и вместе с тем немного кокетливая, тонкая, как струна, но и глубокая, властная. «Et exultavit spiritus mihi!» «И возрадовался дух мой»: это было понятно без словаря.

— Она! — сказал я, боясь спугнуть мелодию — Она!

Был один шанс из тысячи, ускользающий, счастливый номер в бешеном лотерейном колесе — и он достался-таки мне.

— Поставьте еще раз, — попросил я.

Снова, как вьюнки, сплетаясь, погнулись вверх два пягигло-сих хора. На исходе третьей минуты их сменил менуэт. Я понял, что до конца жизни не забуду эту мелодию.

Смущало одно — в музыке, которую я слышал на «Онеге», явно пробивался хрустальный перезвон чембало. Сейчас этот инструмент молчал.

— Ничего странного, — объяснил Борисоглебский. — Мы слушаем «малое» исполнение, без чембало и органа. Записи «Магнификата» с полным «баховским» оркестром не найдете.

— Но я слышал!

— Значит, это впервые! Когда вы слышали?

— Пока не знаю. Но буду знать.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Можно подумать, что речь идет о жизни и смерти.

Так оно и было...

— Приходите, — сказал на прощание Борисоглебский, — у меня каждый вторник собираются ценители.

Его длинные, изуродованные болезнью пальцы легли в мою ладонь, как сухие стебельки. Я вспомнил о Юрском — здоровом, статном парне.

12

«Et exultavit spiritus meus!» — звучало в ушах, когда я летел к городской библиотеке. — «И возрадовался дух мой».

Несомненно, один из ключиков к разгадке находился в кармане. «Магнификат» достаточно серьезное произведение, чтобы числиться в радиопрограмме. Старый приемник Васи Ложко работал лишь в диапазоне средних и длинных волн, без антенны, и его радиус не больше двух-трех тысяч километров. «Магнификат» звучал громко, значит передача не была дальней.

Варшава, Берлин, Стокгольм, Хельсинки, Рига, Вильнюс.. Радиопрограммы больших городов без труда можно найги в библиотеке, и я смогу, наконец, установить «эпицентр» с точностью до трех-пяти минут.

Посмотрим, что делать со стопроцентным алиби Копосева!

Город пролетел мимо меня в трамвайном звоне, шелесте покрышек и пiske транзисторов. В справочно-библиографическом отделе центральной библиотеки дежурила Лена Миши, знаменитая девушка-полиглот, о которой писала городская газета.

Лена помогла мне справиться со «Стокгольмc Тиднинген», «Кансан Уутисет», «Нойес Дойчланд», исчерпав запас подвластных ей языков менее чем на одну пятую. «Жице Варшавы» я одолел самостоятельно. В уголке, среди убогистого петита, отыскалась заветная строчка. Она резко и громогласно встала перед глазами, словно была набрана плакатным шрифтом: «И. С. Бах. Оратория «Магнификат» 20—30».

После нехитрого расчета — варшавское время отличается от местного на один час — вышло, что ария «Et exultavit» прозвучала в тридцать три минуты десятого. Но в это время я находился на парковой горке! Пришлось просмотреть все остальные газеты, чтобы предупредить случайное совпадение. Баха вообще не было в программах того дня.

Из библиотеки я поехал в Дом радио и телевидения. Радио нашего города регулярно обменивалось передачами с польскими коллегами, и у них была налажена непосредственная связь. Здание студии было ярко освещено. Здесь еще продолжался рабочий день. Через пять минут заведующий музыкальной редакцией дозвонился до Варшавского радио.

— Они не делали никаких изменений в программе, — сказал он, положив трубку. — «Магнификат» передавали ровно в двадцать один тридцать по нашему времени. Говорят, что это было первое «истинно баховское» исполнение.

Выйдя из Дома радио, я сел на ступеньку и закурил.

Когда сталкиваясь с необъяснимым фактом, который ставит с ног на голову всю проделанную работу, есть два пути. Можно, следуя методу Прокруста, обрубить упрямому факту конечности,

укоротить, подровнять его и вогнать в устоявшуюся логическую систему. И можно — что сложнее и неприятнее — разрушить созданную систему, развеять ее пепел по ветру и начать работу над новой.

Я не стал калечить факт.

Он был несомненен.

Его можно было расшифровать так: в тот трагический вечер передача из Варшавы прозвучала для меня гораздо позже, чем для всех.

Объяснение могло быть только одно — я слышал не саму передачу, а запись ее. Я вспомнил о великолепном магнитофоне «Филипс», которым гордился механик.

Он записал не «Магнизикат», нет, он записал собственные блуждания по эфиру. Мало того, он нанес на пленку даже собственный кашель, стук в перегородку. Оратория Баха попала в это «попурри» случайным минутным звоном.

Все это было воспроизведено в одиннадцатом часу, когда я смотрел любительский фильм Валеры. Зачем была сделана запись, ясно: с ее помощью механик создал эффект присутствия.

Вот тут-то я пощупал ладонью лоб. Вася, окающий парнишечка из приволжской деревни... Стало быть, он разыграл хитроумный спектакль, когда ему потребовалось покинуть каюту. А сотрудник угрозыска явился свидетелем алиби.

Открытие это не вызвало внутреннего сопротивления, значит, и раньше я улавливал в его поведении какую-то фальшь, но железное алиби подавляло любую мысль об участии Ложко в преступлении.

Да, он мог покинуть каюту незамеченным и подойти к темной «Ладогге». Из окна механику была видна освещенная площадка, где проходил Маврухин, и к встрече можно было подготовиться заранее, включить запись, сделанную за час до этого.

Факты начали нанизываться на нить гипотезы, как бусинки. Неожиданное объяснение получила и загадочная деталь: оставленная на пирсе фуражка Маврухина. Убийца хотел, чтобы преступление было обнаружено как можно раньше. Это лишь подчеркивало бы несомненность алиби. Предстоящая женитьба — тоже своего рода камуфляж...

«Не спеши!» — хотелось сказать самому себе. — «Обдумай все». Но как не спешить? До рейса — менее суток.

В эту минуту я вспомнил о Карен, которая питала необъяснимую неприязнь к своему будущему зятю.

13

Бывают дни, которые созданы словно бы для искупления всех напрасно потраченных минут и часов. Такие дни состоят из плотного звездного вещества и давят на плечи, как пресс.

Было уже темно. На заплетающихся ногах добрел я до дома Карен. Это был старый особняк, с фонтанчиком и фамильными вензелями, под черепичной крышей которого кипела сложная коммунальная жизнь.

Карен удивилась, но пригласила меня войти

— Вот и хорошо, — сказала она. — Машутка ушла, я же не люблю пить кофе в одиночестве..

Мы молча выпили кофе. Я немного успокоился.

— У вас такой вид, будто вы весь день мучились зубной болью, — сказала Карен.

Она выполнила первый закон гостеприимства и теперь снова становилась сама собой. Она была красивее Машутки, но не обладала мягкостью и доверчивостью сестры.

— Почему вы не любите механика? — спросил я.

Это был залп без пристрелки

— Ничего себе вопросы.

— Да уж...

— Задумывались ли вы над тем, что такое симпатия и антипатия? — спросила Карен — Случается, что вы знакомитесь с человеком и через десять секунд знаете, будет он вашим другом или нет, хорош он или плох. И первое ощущение нередко оказывается верным. Какие-то клеточки мигом сработали, послали запрос, получили ответ... Вот вы пришли незванным гостем и распиваете кофе, как дома. Почему?

Мы рассмеялись.

— Так вот: механика вашего я не люблю. С самого начала. С первого дня знакомства. Он — чужой.

— Как чужой?

— Не знаю. Но чувствую. Так бывает. Называется обостренной чувствительностью. Поверьте цыганке.

— Хорошо. Вы гадалка. Вещунья. Но вы верите мне?

— Верю.

— Тогда скажите, почему вы плохо думаете о механике. Оставим антипатию, будем говорить только о фактах.

Она молчала.

— Помогите мне, Карен. Это очень серьезно. Честное слово!

Дом засыпал, гасли голоса на коммунальной кухне. В порту перекликались буксиры.

— Вы, наверно, уже слышали, как Ложко расшвыривал хулиганов, — сказала она наконец. — Это почти легенда. Я-то знаю, как было. Ложко провожал нас с Машуткой из Клуба моряков. Привязались два пьяненьких рейсовика. Механик одного...

— Как он ударил?

Это действительно было важно. По приемам, которые применяет человек в схватке, можно судить о многом. Уголовные навыки, например, тотчас же скажутся.

— Как-то очень ловко. Неожиданно. Не глядя ударил, по-моему, ребром ладони. Вот так. И тот упал.

«Тупое лезвие», — отметил я. Так называл этот прием Комолов. Майор освоил его во время войны, когда был в диверсионной группе. Тут вся штука в том, что резкий удар смещает хрящи в гортани, и противник теряет сознание от удушья. Прием неплох, но применить его может только человек, который хорошо освоил его на практике.

— Механику этого было мало, — продолжала Карен. — Он ударил каблук по пальцам. Если бы мы не удержали, он искалечил бы лежавшего. Я посмотрела на его лицо... Потом он опомнился и снова стал волжским пареньком.

Карен зябко вздрогнула.

— А Машутка?

— Для нее все, что сделал Ложко, — высший героизм. Она влюблена. Я только оттолкнула бы ее, если бы попыталась отговорить... А во второй раз я видела, как механик стукнул «боцмана».

— Стасика? Тихоню, добряка?

— Машутка послала меня на «Онегу» — сказать, что у нее собрание. На теплоходе был один механик, а «боцман», видать, возился на камбузе. Ложко решил выкупаться.

— Где это было?

— На втором причале.

— Возле форта? Какое там купанье!

— Жара... Никто не заметил, как я подошла к борту. Механик только что вылез из воды, а «боцман» уже стоял со спасательным кругом. Он бросился к механику, стал кричать, что тот целых десять минут пробыл под водой, мог утонуть. Ну, Ложко и дал ему затрещину.

— За что?

— Ни за что. Так, рассердился: мол, у «боцмана» не все дома. Прошкус стал оправдываться, и тут механик еще раз стукнул его и сказал, чтобы тот помалкивал, а не то его, идиота, на смех поднимут. Вот так, без всякой причины...

Без всякой причины? Нет. Ложко не зря вышел из себя. «Боцман» не ошибся. Механик и в самом деле мог надолго исчезнуть под пирсом. Выходит, тайник использовали давно?

— Вы рассказывали кому-нибудь об этом эпизоде?

— Нет. Поговорила с Ложко. Стал извиняться — мол, вспышка. Узнают — взгреют за рукоприкладство...

Скрестив руки на острых плечах, она в упор посмотрела на меня.

— Может, я все преувеличиваю? Женская психология — страшная вещь. Недавно сшила костюм по собственным выкройкам. Неповторимый. — Она рассмеялась. — Вчера приснилось, что у подружки такой же. Полдня ходила с ощущением ужаса. А ведь есть повод для более серьезных переживаний.

Было поздно. На кухне из крана равномерно капала вода. Впервые за последние дни я ощутил, что такое тишина и спокойствие. Нервы как будто провисли, словно провода после бури. Загадка еще оставалась загадкой, но главное было сделано. Завтра утром пойду к Шиковцу.

У ворот особняка я услышал знакомый окающий говорок механика. Светила луна. Ложко и Машутка стояли под липой, ворота бросали на них узорчатую тень. Голова Машутки была закинута.

— Мы не увидимся целых десять дней, — сказала она.

— Десять дней пролетят быстро.

— Нет, нет. Медленно. Теперь мне трудно ждать.

В ее голосе было столько любви и силы, что у меня сжалось сердце. Если бы я ошибался! Если бы она любила настоящего волгара, славного парня!

— Ничего, десять дней — ерунда, — повторил механик.

— Я выйду в залив на яхте — провожать.

— Не надо. Не положено.

— Я близко подходить не буду. Только так... Ладно?

Потом я увидел, как он уходит. Уверенно, не спеша. Остановился закурить, и спичка на миг осветила лицо. Влюбленные не так уходят со свиданий. У влюбленных походка легкая, светлая.

Долго слышалось цоканье кованых ботинок. Он уходил, чтобы уже не вернуться.

— Значит, Бах, — несколько неуверенно сказал Шиковец. — Ну ладно. Ложко следует под каким-нибудь предлогом отстранить от рейса. Понаблюдать пока?

Но я думал о жертве. Не о преступнике. «Ищите мальчика..»

— Если Юрский убит, то труп, вероятно, запрятан в форту, — сказал я. — Но, может быть, он жив. Трудно было бы протащить тело через лаз. Легче заманить парня и там оставить. Раз так, то Ложко надо брать немедленно. Иначе опоздаем.

— А основание? Что ты предлагаешь?

— Отпустить «Онегу» в рейс. Ложко намерен удрать, иначе не было бы разговоров о скоропалительной свадьбе. Стало быть, икону он возьмет с собой. Теплоход надо задержать в заливе и произвести тщательный осмотр.

— Полный осмотр судна. А знаешь ли ты, что это такое? Работа на сутки для целой бригады в доке.

— Но ведь другого пути нет.

Три вертикальные морщинки на лбу Шиковца почти сошлись, образуя один большой восклицательный знак.

— Хорошо. Возьму на свою голову. Но сделаем тонко, без шума. Скажем, какие-нибудь сельхозвредители обнаружены в последнюю минуту... грибки или бактерии. Отведем «Онегу» на дезинфекцию. А ты посмотришь за механиком.

Впервые он мне по-настоящему нравился, капитан из угрозыска

— Слушай-ка, Чернов, — остановил он меня, когда мы уже попрощались. — Тебе не кажется, что дело тут не в одной иконе? Слишком уж крупная игра. Ставки не по чину.

— Вот и посмотрим, что у него припрятано.

— Ну ладно. А ты будь... — Шиковец секунду помолчал. — Только без трюкачества. По правде, я должен был бы наложить на тебя взыскание за твои подводные приключения. Да и за осмотр форты в одиночку...

Не договорив, он махнул рукой. Я так и не понял, объявляет мне начальник выговор или нет. А может, он сначала хотел сказать, чтобы я был поосторожнее, но в последнюю минуту решил, что такое предупреждение отдает сентиментальностью, и заговорил о наказании? Строгий Шиковец!

14

В десять «боцман» раздал команде «личный паек» — курящим сигареты, некурящим шоколад, а в десять тридцать пограничники и таможенники произвели обычную проверку.

Мы отшвартовались. Кэп, в фуражке, молодой и подтянутый, бодро переложил штурвал. Мелькнули ветлы на островке. Кирпичный форт смотрелся теперь на фоне города как ржавое пятно. Мы миновали длинный ряд судов и вышли на простор.

В этом районе фарватер был отмечен двумя рядами буйев. Нам предстояло свернуть налево и по мелководной части залива направиться к каналам европейской внутренней сети. Я уселся на комингсе, наблюдая за механиком. Он стоял неподалеку от тамбура машинного отделения, подставив лицо ветру. Симпатичный такой, крепко сбитый парнишечка с вьющимся русым чубом.

Ленчик вынес на палубу сверкающий аккордеон и запел частушки, которые освоил после изнурительных репетиций.

Ходит чайка по песку,
Моряку сулит тоску,
И пока не сядет в воду,
Штормовую жди погоду!

В частушки были превращены стихи знаменитого капитана Лухманова, который перевел с английского матросские поговорки... «Онега» уже свернула в узкую протоку. Несколько черных лысук, хлопая крыльями, снялись впереди. Пахло рыбой, осокой, речной свежестью.

За кормой показался катер. Он догонял нас. Механик несколько раз оглянулся. Он встал так, чтобы видеть корму. Катер гнал перед собой белый бурун. Я делал вид, будто целиком захвачен пением Ленчика.

Дождик раньше, ветер вслед,
Жди от шквала всяких бед;
После ветра дождь придет,
Значит, скоро шквал пройдет.

А небо между тем хмурилось, предвещая то ли ветер, то ли дождь. Вдали серой полосой открылся залив, но мы не успели выйти на морской простор. Сзади сердито загудела сирена. Катер прыгал на крутой, взбитой волне. На носу его стоял человек и кричал в мегафон. Кэп дал малый ход.

Катер толкнулся кранцами о борт, и на палубу теплохода вскопчил человек в темном кителе с нашивками. Механик продолжал машинально тереть ветошью руки, не сводя глаз с человека, который поднялся в рубку.

— Это все из-за тебя, — сказал Леша Крученых, толкая «боцмана» в бок.

— Почему из-за меня? — испуганно спросил тот. — Я ни в чем не виноват, честное слово.

— Не виноват! Варениками с вишнями кормил? Кормил. А косточки из вишен не вынул. Теперь всех на рентген.

«Боцман» все принимал за чистую монету... Но шутка Леша погасла, как спичка, брошенная в воду: на мостик вышел Кэп.

— Поворачиваем оглобли, — сказал он.

Механик сжал кусок ветоши.

— А в чем дело? — спросил Ленчик.

— На дезинфекцию. Всем по прибытии — в санпропускник.

Выход переносится на утро.

Ложко, размахнувшись, выбросил ветошь за борт. На его лице промелькнула довольная усмешка. «Посмотрим на тебя через часок-другой», — подумал я.

С этой секунды я не оставлял механика. Вместе, рука об руку, мы сели в автобус, доехали до санпропускника, сдали вещи суровому служителю, который отправил их в горячее железное чрево. Прощлепав по кафельному полу, мы мылились одним куском карболового мыла, а механик рассказывал о своих родственниках с берегов Волги.

Казалось, его забавляет это нечаянное приключение.

Шиковец был немногословен. Видимо, все, что он хотел произнести в мой адрес, было уже высказано мысленно.

— Знаешь, во сколько нам обошлась эта процедура? — спросил он, насупившись. — Примерно в три с половиной тысячи рублей. Об остальном не говорю.

— Ничего не нашли?

— Ничего. Искали так, что и зубочистка не завалилась бы.

Он вел себя мужественно. Не пытался переложить тяжелый груз ошибки. Взял на себя все, что положено по должности и чину. Я стиснул зубы. Ощущение было такое, будто кто-то взял за шиворот и возит физиономией по наждачной бумаге.

Это было не просто поражение. Это был позор. Вся версия, которая казалась мне безукоризненной, летела в тартарары. С треском, с грохотом летела.

Шиковцу было не легче. Какова-то будет реакция в управлении! Ведь осмотр теплохода потребовал всяческих начальственных санкций.

— Разрешите идти? — спросил я и, повернувшись, щелкнул каблуками.

Вечером мы с «боцманом» сидели в закуской «Стадион». Стасик был прекрасным собеседником: он слушал, не перебивая, и аплодировал белесыми ресницами каждому слову. Закусочная покачивалась, словно за окнами свирепствовал шторм. Перед нами стояли пустые кружки, их ручки были похожи на оттопыренные уши Стасика.

— Ты славный парень, «боцман», — говорил я. — Ты меня поймешь. Я расскажу тебе о сказочной стране Офир. Это было в те времена, когда мореплаватели были похожи на пиратов, а пираты не отличались от мореплавателей: их именами называли проливы и банки. Некто Альваро Менданья, капитан и вожак, шастал по морям в поисках сказочной страны Офир. Менданья был неудачником, но свои неудачи он компенсировал упрямством. Он искал, искал, искал и своей верой заражал других.

Потом мы шли по улице Крузенштерна: семь пролетов гранитной лестницы, фонтан с деловитыми амурчиками, памятник Мирославу, вечный огонь у обелиска гвардейцев и, наконец, форт — рыжий краб, вцепившийся в землю кирпичными отростками.

Чувство беспокойства вновь охватило меня.

Я подумал о Юрском. Об обманутой Машутке. О «боцмане», которого был механик. Они были главными лицами в этой истории. А чиновное самолюбие лейтенанта Чернова или капитана Шиковца здесь ни при чем. Их обиды бессмысленны.. Будем рассматривать поход в «Стадион» как краткую передышку. Минутный отпуск для нервов.

— Ты боишься механика? — спросил я у «боцмана».

Реакция его была непосредственная, как у ребенка.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю. За что все-таки он ударил тебя?

Фонари, установленные у форта, бросали отблеск на веснушчатое лицо Стасика.

— Если я расскажу, он добьется, чтобы меня списали.

— Чепуха!

— Он грамотный, а у меня четыре класса.

— Просто запугивает. Команда будет за тебя. За что все-таки?

— Позавчера он на яхте плавал и вернулся мокрый. Отдал китель и велел высушить. Ну...

Это уже было нечто новое. Оказывается, пока я летал в Ленинград, на «Онеге» произошла еще одна ссора.

— Я стал сушить на распялке, смотрю — в кармане матросская книжка. Совершенно сухая, даже чернила не расплылись. Я ему говорю: ты книжку где держал, когда тонул? Он почему-то рассердился и . В общем он очень вспыльчивый. Я пригрозил, что расскажу, как он дерется ни с того ни сего. Он говорит: «Тебе, дураку, веры не будет, а я доложу как ты западный образ. это.. пропагандируешь».

— Как это «западный образ»?

— А я жевательную резинку покупаю пачками, — сказал «боцман», потупившись. — Для ребятишек, в подарок. Они любят. Я и сам люблю.

Все же я не выдержал и рассмеялся. Глядя на меня, расхохотался и Стасик. По-моему, после такой «исповеди» ему стало легче. Нет, механик зря не берет в расчет этого парня. Он прост, бесхитростен, но отличается завидной наблюдательностью!

В самом деле, как удостоверение осталось сухим? Если бы механик завернул его в непромокаемую оболочку, то «боцман» и нашел бы его в таком виде. Я вспомнил вдруг, как Прошкус жаловался по поводу пропажи полиэтиленовых мешков. А может быть...

Догадка пробивалась, как слабый росток на высушенной земле.

15

И снова — будто прерванный и вернувшийся сон — неспешное движение по узкой протоке, кланяющиеся камыши, гул дизеля. Только палуба на этот раз пуста: сеет мелкий дождичек. Команда собралась в рубке.

Ленчик чуть пошевеливает штурвальное колесо, небрежно, двумя пальцами.

— Залив! — торжественно объявляет Валера

Берега протоки начинают постепенно расступаться. Это уже

прощание с родной землей. После десятичасового перехода, когда теплоход по диагонали пересечет залив, начнутся чужие края. Все смолкают на миг.

Дальше и дальше уходит от бортов земля — словно перед «Онегой» распахиваются зеленые ворота. Механик как будто дремлет, прищулив веки. Короткопалые мозолистые руки лежат на подлокотнике дивана. Они спокойны.

— Снимай колпак с компаса! — командует Кэп.

Валера снимает тяжелый медный колпак, похожий на каску «Онега» набирает ход. Сзади стелется пенный след, над ним летают чайки, высматривая оглушенную рыбу.

Берега скрываются в пелене дождя. Ленивая волна бродит по заливу Ветра нет, только дождь — затяжной, осенний. Если бы не могучий рев дизеля, мы бы слышали, как над заливом, а может быть, над всем морем стоит звон капель.

Кэпу предстоит вывести теплоход к цепи буйков, ограждающих опасные участки. На расстоянии тридцати-сорока километров от берега мели сжимают фарватер, а затем вновь расходятся. Коварен этот залив.

Как же все это будет? Механик спокоен. Видать, уверен, что и второй раунд за ним.

— Ленчик, передай штурвал Петровскому, — командует Кэп, — сам отправляйся на нос, впередсмотрящим. Как бы мимо буйков не проскочить.

Ленчик нахлобучивает зюйдвестку, на лице его явное неудовольствие.

— Лень — забор с острыми колыями, сидишь на нем и вертишься от боли, а прыгнуть страшно, — вскользь замечает Валера

— Кто сказал? — тут же радостно спрашивает Леша.

— Я сказал.

— О! — стонет Леша в восторге — Собственный зуб мудрости прорезался!

Ленчик, зашевелившись, как медведь, в своем неуклюжем дождевике, поднимает руку. Кэп передвигает рычаг дистанционного управления на «малый ход». Справа по носу оранжевый буй

— Хорошо Так держи.. Хорошо.

«Онега», дрожа корпусом, снова набирает ход. Мы оставляем буй по правому борту. Следующая отметка опять оказывается правее

— Молодцом, — говорит Кэп — Через десяток рейсов.

Я не успеваю узнать, что произойдет через десяток рейсов. Где-то в глубине судна раздается громкое шипенье, которое тотчас переходит в скрежет. Кажется, что обшивка рвется на части, как дерматин. Теплоход замирает. Невольно оглядываюсь на механика: это и есть ожидаемый сюрприз?

— Мы на мели!

Ленчик, скользя, бежит по мокрой палубе, в своих брезентовых доспехах, и размахивает наметкой, как копьем.

— Метр пятьдесят на носу, метр пятьдесят пять на корме! Втюрились!

— Сели крепко, — Кэп оглядывает серый залив. — Неужели нанесло песку? Или буй сбило штормом?

— Штормов давно нет, — замечает Леша. — Не иначе как нанос.

— Черт знает что, — ворчит Кэп. — Попробуем поработать задним ходом. Может, промоем.

Дизель сотрясает теплоход, по обе стороны «Онеги», от кормы к носу, несутся мутные вспененные струи, но мы сидим, словно на магните

— Это не нанос, — заявляет Ленчик, оставив тяжелую наметку. — Основание плотное. Переставлен буй! Служба пути дала маху.

— Придется поработать, — Леша слегка отпускает узел галстука.

— Самим сниматься надо, — поддерживает его Валера. — Вызывать буксир — позор.

«Яхта перевернулась в заливе, там, где бакены, — вспоминаю я. — Что же, начинается задуманная механиком большая игра?»

— Попробуем заводить якорь! — гремит Кэп. — Ленчик, спушай шлюпку.

Малая шлюпка, «дюралька», повиснув на таях, со скрипом опускается на воду. Две фигуры постепенно скрываются в завесе дождя. Барабанят капли по жестяной крыше.

Шлюпка возвращается.

— Впереди и левее начинаются глубины! — кричит Ленчик.

— Давай, Валера!

Наступает черед моего соседа включиться в аврал. Кроме него, никто не в состоянии забросить якорь в шлюпку. Недолго думая, Валера, в джинсах и тельняшке, прыгает прямо с носа. Плечи его торчат над водой.

— Это же подъемный кран, — замечает Леша.

Якорь медленно выползает из клюза. Валера, подхватив его на руки, с трудом забрасывает в «дюральку». Перегруженная шлюпка отчаливает от борта «Онеги», и Валера — плечи выступают над водой — шествует за нею, как Гулливер. Погромыхая, разматывается цепь. Наконец якорь закреплен в сотне метров от «Онеги». Ленчик и Валера взбираются на борт.

— А я к буйку пройду, посмотрю, в чем дело!

Это механик. Он усаживается в «дюральку» и отталкивается наметкой от борта.

— Постой, возьми меня! — кричу я вслед шлюпке.

К буйку я не собираюсь, просто нужно проверить, как будет реагировать механик. Он делает вид, будто не слышит. Шлюпочка быстро уходит в морось.

Теперь все ясно. Исчезают последние сомнения. У буйка механик пришвартуется, спрыгнет в воду и поднырнет к основанию троса, которым буй связан с якорем. Там прикреплен тщательно завернутый в полиэтиленовые оболочки пакет..

Нег, не случайно Вася Ложко, прогуливаясь на яхте, сделал «оверкиль» именно здесь, где оранжевый буй предупреждал о близости мели. Пока Машутка цеплялась за днище перевернутой яхты — рост не позволял ей стоять в воде, — механик закрепил пакет и перетаскил буй на несколько десятков метров, обеспечив «Онеге» вынужденную остановку.

Вот почему удостоверение осталось сухим. Он заблаговременно оставил его на берегу, а затем положил в карман кителя.

Дизель грохочет на максимальных оборотах. Капитан включает носовую лебедку, и цепь, натянувшись, как струна, встает из воды. «Онега» подтягивает себя к якорю, вцепившемуся в грунт. Со скрежетом, перемалывая песок, теплоход ползет по мели, сантиметр за сантиметром приближаясь к спасительной глубине.

Лицо Кэпа становится красным от волнения. Реверс. Задний ход. Винт размывает песок под днищем Реверс. Полный вперед. Еще десять сантиметров. Вперед-назад, вперед-назад.

Но вот движение «Онеги» ускоряется. Она переваливается с боку на бок, словно утка. Под днищем нет сплошного грунта — только «ребра» песчаных наносов. Наконец — глубина... Легкая бортовая качка от волны.

Кэп утирается рукавом, царапая щеку шевронами

— Ну, где там Ложко?

«Дюралька» показывается из дождя, за ней, словно плавающая мишень, скользит оранжевый буй

— Забрось правее! — кричит капитан в мегафон. — Ох, и раскатаю я управление пути.. Вот ты, Петровский, — неожиданно напускается он на Валеру, — выдающиеся мысли записываешь, а ты в газету напиши, продерни этих «уповцев»!

— А что! — вдохновляется Валера и заглядывает в блокнот. — Можно эпиграф подобрать. Например: «И всех больнее раним мы того, кого на деле всех нежнее любим» Из Гете.

— Это ты о чем?

— Ну, про «уповцев» Они должны о нас заботиться, так сказать, любить, и в результате

Тонкая мысль ускользает, как угорь, и Валера растерянно поводит из стороны в сторону своими окулярами.

— Ты, Валера, в масштабе «Онеги» — голова! — язвительно замечает Леша.

Шлюпка уже повисла на таях. Механик — я вижу его крепкую шею — вращает рукоятку лебедки. Плащ он положил в «дюральку», на банку.

Винт, почувствовав глубину и простор, работает мощно и вольно. Сейчас все решится, сейчас Целая неделя поисков, ошибок, переживаний привела к решающему шагу

Команда снова собралась в рубке

Механик склоняется над шлюпкой, сворачивая плащ в узел. Я слежу за ним из-за приоткрытой дверцы. Нас никто не видит, только чайки, которые проносятся над головой.

— Не надо заворачивать, — говорю я, осторожно подойдя к Ложко. — Хотелось бы взглянуть на икону.

Он не вздрагивает. Только спина изгибается, и каждая мышца протрунует под натянутой тельняшкой.

Выдержка у механика завидная. Он слегка поводит плечами, как будто завинчивая что-то под плащом.

— Подними руки!

Я стою за его спиной. Преимущества такого положения очевидны. Ни нож, ни весло от шлюпки не спасут его, потому что не успеет замахнуться. А рядом пятеро здоровых ребят.

Он склоняет голову, как бы признавая поражение. Повора-

чивается. Но плащ, свернутый в комок, продолжает удерживать в руке. Резкое движение — и я останавливаюсь, успев лишь податься вперед для броска. Эта мгновенная остановка и спасает мне жизнь.

В руках у механика автомат

Короткоствольный, с дырчатым кожухом и обоймой, торчащей влево от ствола, как у «стена», маленький и аккуратный, как игрушка, но в то же время совсем не игрушка. В нем чувствуется литая тяжесть стали

— Докопался-таки, сволочь, — говорит механик. — Стой! Прикончу сразу. Эй, в рубке! Выходи на палубу!

Его лицо, обычно румяное, улыбочное, сейчас кажется серым, фанерно-плоским, а нижняя губа отпала. Что-то крысиное появилось в нем, и русский чуб волжского гармониста, который взметнулся надо лбом, — словно забытый клочок маскарадного наряда.

Описано много способов, как выбить оружие из рук врага. Все они хороши, когда перед тобой противник, не знающий этих приемов. Но человек с русым чубом знает

Пригнувшись, он держит автомат у бедра, так что ствол направлен в мою грудь снизу вверх.

В голове происходит бешеная эстафета мыслей. Этот тип должен был перевезти вовсе не «Благовещение». В мои расчеты вкралась ошибка. Он не уголовник. Он пришел от туда, чтобы выполнить задание, которое мне неизвестно. Но еще не все потеряно.

16

Вся команда «Онеги» высыпала на палубу. Даже Кэп оставил штурвал. Никто не понимал, что происходит.

— Стоять на месте! — крикнул Ложко

Можно было бы, используя удачный момент, броситься на «механика». Остальные тоже бросились бы, и, кто знает, один или двое остались бы в живых. Даже такой скорострельный автомат не смог бы пробить грудь тел. Сознание собственной ошибки, ненависть, обида, весь этот клубок чувств клокотал во мне, и в эту минуту я ничего не боялся. Но я не имел никакого права провоцировать на гибель других. Надо было покрутить мозгами, прежде чем сказать последнее слово.

«Механик» слегка поводил стволом, и как только черный зрачок дула останавливался на ком-либо, тот моментально замирал.

Теплоход шел сам собой, распарывая носом залив. Мы стояли в шести метрах от Ложко на мокрой палубе, почти в линию. Только Валера, хранитель чужой мудрости, ничего не понял. Он шагнул вперед, подняв тяжелую ладонь.

В ту же секунду сухо и резко щелкнули выстрелы. Очередь была короткой. Валера попятился, отмахиваясь ладонью, с которой капали тяжелые красные капли

— Стреляю точно, — хрипло сказал «механик». — Идите в носовой кубрик. Или бью сразу по всем. Ну!

Он был профессионалом. Хорошо подготовленным, вымуштрованным и лаконичным в действиях. Конечно, он был готов прикончить всех. Это его работа.

Все выжидательно посмотрели на меня

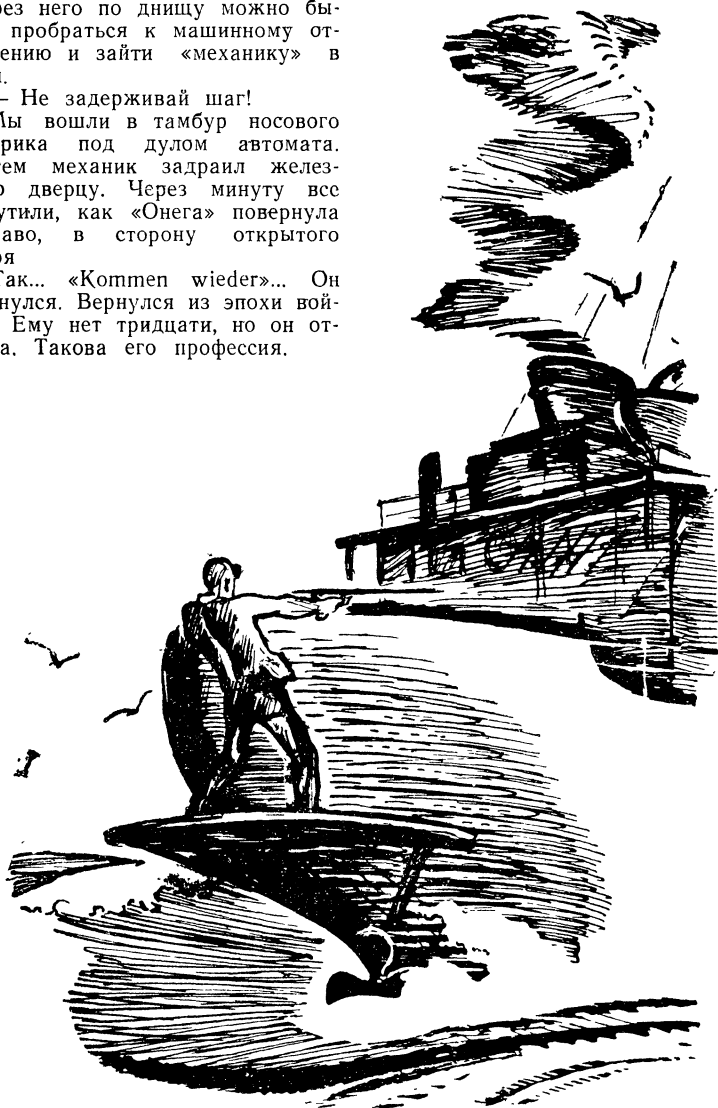
— В кубрик, — сказал я.

Там, на носу, был люк, который вел в междудонные отсеки. Через него по днищу можно было пробраться к машинному отделению и зайти «механику» в тыл.

— Не задерживай шаг!

Мы вошли в тамбур носового кубрика под дулом автомата. Затем механик задрал железную дверцу. Через минуту все ощутили, как «Онега» повернула вправо, в сторону открытого моря

Так... «Kommen wieder»... Он вернулся. Вернулся из эпохи войны. Ему нет тридцати, но он оттуда. Такова его профессия.



— Кто он такой? — спросил Прошкус.

— А ты не понял? — спросил Кэп. — Эх, проморгали мы птицу! Но как ловок, подлец! Как хитер!

Сидя на трапе, он перевязывал Валере простреленную ладонь полотенцем.

— Надо было сразу кинуться. Эх, черт...

Леша Крученных и Ленчик хмуро посмотрели в мою сторону. Это ведь мой окрик заставил ребят остановиться.

— Получили бы пяток пуль в живот, — сказал Кэп.

Из всей команды он был единственным, кто понюхал пороху. Его авторитет не вызывал сомнений.

— В кубрике люк, — сказал я. — Мы можем проползти к машинному. В этом вся штука.

— Ну-ка, Ленчик, — кивнул Кэп.

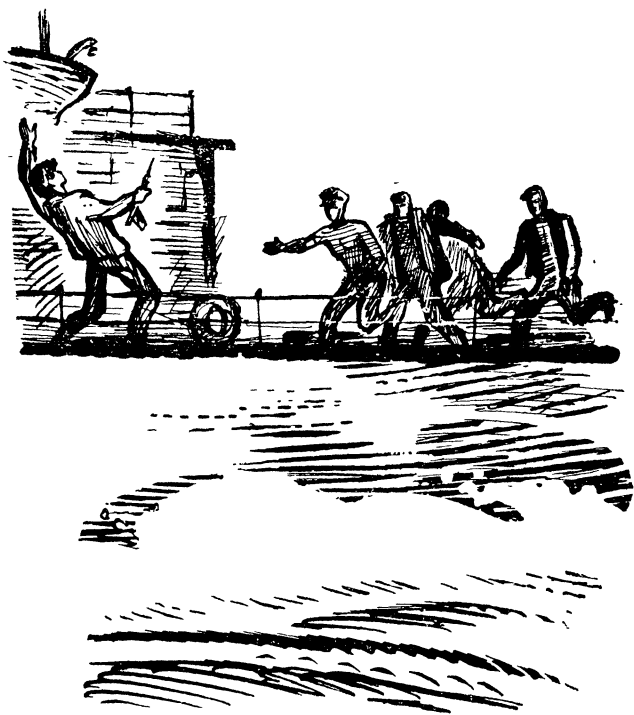
Матрос скрылся в кубрике.

— Зачем ему захватывать теплоход? — спросил Кэп. — Он мог пересечь границу как член экипажа и...

— Не вышло. Оставалось действовать силой.

— Так... Но и у вас тоже не вышло? Обидно.

Некогда было объяснять, что я искал одного преступника, а открыл другого.



Вернулся Ленчик

— Там полно воды! — доложил он. — «Механик» уже при-
топил судно. Видать, догадался.

Теперь мы сидели, как в ловушке. «Механик» во всем проя-
вил предусмотрительность. Вот гад!..

— Скорее всего некоторое время он будет держать на севе-
ро-запад, в нейтральные воды, — сказал Кэп. — А потом спу-
стит лодку с подводными крыльями. Скорость у нее высока, на
море штиль. Отыскать такую лодку трудно, а до чужих бере-
гов недалеко... Может, и вовсе утопит «Онегу». Чтоб свидете-
лей не нашли.

Сверху, из решетчатого «фонаря» над тамбуром, падал туск-
лый свет. Грохотал на форсированном режиме дизель. Я огля-
дел своих товарищей. И так, нас шестеро, включая одного ране-
ного. Оружие? Подручные предметы. В кубрике Ленчика ган-
тели, охотничий нож... Я вспомнил о «Бонстроме», гарпун кото-
рого пробивал дюймовую доску.

— Можно выбраться через иллюминатор в кубрике? — спро-
сил я у Ленчика.

— Можно. А дальше? «Онега» на ходу. Бултых в воду...

— Постой, — перебил его Кэп. — Веревка найдется?

— Найдется метров пятьдесят.

Иван Захарович пригладил лысину. Он полностью овладел
собой и держался хладнокровно, как подобает капитану.

— Можно попробовать. Если обвязаться веревкой и вылезти
в воду, этот шпик не заметит: фальшборт прикроет. Потом по-
степенно травить конец. Струя отнесет к корме. Влезть на кри-
нолин — вот что трудно.

— Кринолин?.. На ходу?

Когда-то в пароходстве проводили опыты с мощными подвес-
ными моторами. И для этой цели к корме «Онеги» приварили
площадку из металлических брусев — кринолин. Она нависала
над водой, словно козырек, поддерживаемая двумя кронштей-
нами. По кронштейнам купальщики забирались на теплоход.
Но не на ходу, разумеется. Гребной винт режет, как нож.

— Хорошо. Я попробую.

— Нет уж, — сказал Леша. — Я помельче, полегче. И руки
больно чешутся. Этот паразит, который жрал за одним столом
гречневую кашу... И за Машутку... Я сразу...

— Потому и не пойдешь, что «сразу», — сказал Кэп. — Ва-
ляй! — Он тронул меня за плечо. — И будь осторожен.
Мы с Лешей подержим веревку. Ты, Ленчик, с Прохусом вы-
ламывай дверцу. Табуреткой лупите. Надо отвлечь...

Растерянность прошла, мы были готовы к бою.

Я вывалился из иллюминатора и повис — пальцы ног чирка-
ли по плотной, бешено несущейся воде. Леша привязал к спа-
сательному жилету ружье для подводной охоты, а к ремню под-
цепил нож.

— Слушай, Чернов, если не вылезешь на корму, попробуй
накинуть веревку на винт, — сказал Кэп. — Может, остановим
машину.

Они опустили веревку. Глотнув воды, я тут же выскочил на
поверхность. Струя держала как будто на шершавой ладони.
В ноздри и рот била вода, не давая дышать.

Кэп и Леша постепенно отпускали веревку. Я как бы сползал к корме вдоль железной обшивки. Рвало одежду. Ссадины горели от соленой влаги.

Из носового кубрика за мной уже не могли следить. Но Кэп заранее отмерил веревку, чтобы притормозить, когда я окажусь у кормы.

Вот и криолин. Он перечеркнул небо широкой решеткой. Рядом — толстый, как рельс, кронштейн, который был приварен к корме у ватерлинии и наклонно уходил вверх, поддерживая криолин.

Вода бурлила здесь, как в котле, стоял рев.

Я кое-как ухватился за кронштейн и попытался влезть, но не смог. Видно, ослабел. Сердце ходило в грудной клетке, как язык колокола, тяжело стучало в ребра.

Держась обеими руками за кронштейн, несколько раз глубоко вдохнул.. Нога снова соскользнула. Все повторялось, как в дурном сне. Вода мотала меня, то отталкивала, то тянула к винту, дизельная гарь душила едкой хваткой, а рев подавлял волю.

Наконец, удалось подтянуться и выбраться из воды. Я встал, согнувшись в треугольнике, образуемом кронштейном, кормой и криолином. Равновесие было шатким.

Сумею ли пролезть между брусьями? Взобраться на корму не просто. В этот момент я буду представлять отличную мишень, и, если «механик» даст очередь, все старания пойдут к чертям собачьим. Надо попробовать остановить теплоход.

Я обрезал веревку и дернул ее два раза, давая знать в носовой кубрик. Капитан вытравил еще с десятков метров, и я намотал веревку на руку. Потом, как можно сильнее упираясь спиной, чтоб не свалиться, достал с криолина удилище. Здесь всегда лежали удилища, привязанные к брусу шпагатом.

Остальное было делом несложным. С помощью удилища я опустил веревочную петлю в воду, к винту. Вережка рванулась, чуть не столкнула меня в воду и бешеной змеей заскользила от носового кубрика к корме, наматываясь, как нитка на катушку.

Теплоход задрожал от биения гребного вала. Затем в воде мелькнули какие-то обрывки сетей, мотки проволоки — все, что ребята обнаружили в носовом кубрике и привязали к концу.

«Онега» дернулась, и наступила тишина. Теплоход скользил теперь по инерции, все медленнее. Наверху слышались шаги. «Механик», заглушив двигатель, направлялся к корме, чтобы взглянуть, что случилось с винтом. В железную дверцу на носу уже отчаянно колотили.

Я проверил, хорошо ли вставлен гарпун. Если «механик» пойдет к корме.. Но нет... Пусть лучше не подходит. Смогу ли я первым нажать на спуск? Не так-то это просто — выстрелить в человека.

Он-то сможет.

В дверцу носового кубрика колотили все сильнее. «Механик» куда-то исчез. Надо было решаться. Я пролез, царапая плечи, сквозь брусья криолина и попытался подтянуться, чтобы выбраться наверх. И застыл на миг, увидев «механика» совсем близко, в нескольких шагах.

Он стоял на палубе, повернувшись ко мне боком, в мокрой

тельняшке, и смотрел на залив. Машинально и я повернул голову и увидел яхту. Бесшумно, со слабо наполненным парусом, яхта выходила из дождя. Машутку я узнал сразу — даже грубая штормовка с капюшоном не могла скрыть изыска тонкой, легкой фигурки. Бросив румпель, она махала, отчаянно махала рукой.

Она ведь говорила «механику», что выйдет на провода, и теперь выполняла обещание. Ей повезло, как зачастую везет влюбленным. Несмотря на морось и мглу, яхта нашла «Онегу». Откуда Машутке было знать, что эта встреча обрекает ее на гибель? Теперь она становилась опасной свидетельницей, ненужной помехой на пути человека, которого знали под именем Васи Ложко.

Яхта приближалась. «Механик» медленно, но решительно поднял автомат. Я рванулся, тщетно стремясь вырваться из металлической решетки.

Ложко повернул голову, и мы встретились взглядами. Показалось, он усмехается. Вот теперь-то он мог рассчитаться за все. Почему он не сделал этого раньше? Наверно, потому, что был вымуштрованным агентом, знающим один из непреложных законов профессии — без необходимости не убивать. Сейчас убийство стало необходимостью. И он усмехнулся.

Решетка кринолина сжимала грудь. Я осторожно протянул руку к ружью, которое лежало под ободком кормы. «Механик», видя мое беспомощное положение, не спешил. Эта медлительность была местью, небольшой данью эмоциям.

Я рванулся еще раз, и в это время на носу послышался грохот упавшей дверцы. Команда «Онеги» высыпала из тамбура, как горох из стручка. Первым мчался Валера, размахивая забинтованным кулаком. Очки его слетели.

«Механик» оказался между командой, мною и Машуткой. Он мгновенно принял решение. Главную опасность представляла команда «Онеги», и в первую очередь слепой, как таран, Валера. Ложко повернулся к нему.

Я вскинул «Бонстром». Плечо «механика» затряслось, принимая отдачу. Уже не раздумывая, я нажал тугой спуск. Очередь автомата оборвалась.

17

— Так вы говорите, Бах, «Магнификат»? — спросил полковник. — Надо будет послушать

У полковника было крепкое, остро очерченное лицо прибалта, светлые, очень светлые глаза.

— Можно зайти к Борисоглебскому, — сказал я.

— Володе? Он учился с моим сыном.

Он пролистал лежавшие перед ним бумаги.

— Теперь я могу объяснить вам все по порядку.

— Кое-что я уже понял.

— Но главного не знаете. Года два назад к нам иностранной разведкой был заброшен некто Лишайников. Действовал он без особого успеха, но, наконец, ему удалось раздобыть по-

настоящему важный материал на севере, на военном объекте. В тот день резидента должны были взять. Оторвавшись на миг от наблюдателей в Гостином дворе, Лишайников случайно встретил одного типа по кличке Грачик, мелкого фарцовщика, который когда-то попался на крючок. Грачик был ненадежен для серьезных заданий. Трепач, трус, гуляка. Поэтому резидент больше и не связывался с ним. Но, затравленный, он решает на почти безнадежный шаг: вручает Грачику рулончик с микропленкой и сообщает пароль, город и имя адресата — «механика» Ложко. «Механик» — тщательно законспирированный связной. Кличка — Сильвер, «серебряный» Резидент как будто губит этого сообщника, доверившись фарцовщику. Но именно потому, что Лишайников поступил «не по правилам», опрометчиво, фокус удался. Дальше снова вмешивается случайность. Этот Юрский встречает Грачика, о котором слышан как о «бывалом коммерсante». Он сообщает об иконе. Но Грачику не до коммерции. Он напуган. Бойтся резидента, бойтся и уголовного кодекса. Опасность, говорят, заставляет быть изобретательным. Грачик решает переложить задание на другого, хотя тот и не будет знать об уловке. Фарцовщик осматривает икону, незаметно вставляет в щели разошедшейся доски рулончик. И дает Юрскому «направление» к Ложко. Мол, тот все устроит, даже отвезет куда угодно.

Юрский, прихватив акваланг, приезжает к нам в город. В закусочной этот юнец расспрашивает о «механике» и сталкивается с Маврухиным. Тот узнает, что речь идет о крупной сделке, и решает примазаться. Он сводит Юрского с Ложко. Теперь Маврухин — третий в опасной игре.

Ложко догадывается, что сработал какой-то аварийный вариант и «подарочек» привезли не зря. Он осматривает икону и достаёт микрофильм. Надо срочно доставить его за границу. Но двое ненадежных людей — Маврухин и Юрский — могут в любую минуту навести на след. Первый, чтобы не продешевить, уже начал «интересоваться» древнерусским искусством. Второй пока что притаился на корабельном кладбище, но ему приходится приплывать к «Онеге» — заряжать с помощью Маврухина акваланг.

Сильвер, играющий роль паренька с Волги, — хорошо подготовленный агент, безжалостный, решительный и находчивый. Он принимает план: покончить с Маврухиным так, чтобы подозрение в убийстве пало на Юрского, который также должен исчезнуть. Пока будет идти расследование, «Онегу» выпустят из порта — и концы в воду. Еще перед отправкой «механика» снабдили планом подводных сооружений форта, где были припрятаны рация, оружие, код. «Механик» предлагает Маврухину заманить Юрского в этот лабиринт — там якобы более надежное убежище — и оставить на веки вечные Икону, мол, они реализуют вдвоем. Юрскому объясняют, как пробраться под водой в отдаленную камеру. Баллоны акваланга на этот раз заполняют без фильтра, позаботившись о том, чтобы туда попало достаточно выхлопного газа А Юрский... Он охотно идет навстречу новому приключению. Икону ему возвращают, предварительно завернув в полиэтилен. Опасаться подвоха, стало быть, нечего.

Почти без памяти он добирается до убежища. Газ оказывается ядовитым. Юрский пытается вынырнуть из убежища без акваланга, как это делал Ложко, но подводный лаз уже перекрыт решеткой. Капроновый шнур, который указывал путь, изрезан.

Между тем, обеспечив алиби с помощью магнитофона, «механик» проводит вторую часть операции: убирает Маврухина. Он допускает только одну маленькую ошибку. Но откуда ему знать, что его может выдать немецкий композитор, живший триста лет назад? Остальное известно вам...

— «Механик» догадался, что я послан угрозыском?

— Не огорчайтесь — да. Он был в своем деле асом. Поэтому делал все, чтобы навести вас на ложный след, на Юрского. Напомнил, что видел Маврухина на площади Марата — он ведь наблюдал за «компаньоном» Поддержал поммеха, когда тот вспомнил о загадочном шуме в машинном отделении. Предусмотрел и то, что на судне произведут обыск: отсюда трюк с буйком...

— А я-то сводил все к одной иконе

— Кто не ошибается? Важен конечный результат. Все мы работаем сообща.. Кстати, профессор Злотников вылетел из Ленинграда. Повторную операцию Петровскому сделают вечером.

Полковник проводил меня до дверей.

— Не беспокойтесь за исход операции. Когда-то Злотников почти по частям собирал одного человека. Удалось.

Об этой операции я уже слышал от Шиковца. Пациент профессора стоял сейчас рядом со мной.

Полковник сказал:-

— Хотел бы передать вам привет от майора Комолова. Разговаривал по телефону. Мы были знакомы когда-то. Посоветовался с ним кое о чем

Он посмотрел на меня вприщур, и я почувствовал, как весь укладываюсь во взгляде этого человека, словно в окуляре перевернутого бинокля.

— Хочу предложить вам перейти на работу ко мне. Надумаете — позвоните.

Серое здание, которое в областной милиции уважительно называли «соседним управлением», выходило парадными дверьми в тихий переулок. Я пошел вдоль кленовой аллеи не спеша, как отпускник, вдруг ощутивший всю тяжесть свободного времени. Дело «механика Ложко» было для меня закончено — оно в других, более умелых руках. Но я все еще жил в нем и никак не мог успокоиться.

.. Мокрая палуба «Онеги», ребята, которые склонились над «механиком» и Валерой... Темная лужа постепенно расплзается по доскам. «Бонстром» как-то сам выпадает из моих рук. О борт теплохода ударяется яхта, и парус нависает над нами. И вот уже Леша Крученых подхватывает Машутку. Лицо ее словно покрыто белилами. Потом я вижу Валеру, поднятого дюжими руками, два темно-красных пятна на его тельняшке. Кто-то отшвыривает ногой автомат..

Кэп накрывает «механика» простыней. Дождь все падает, и вскоре мокрая простыня принимает формы распростертого тела. Как маска, проступает лицо, и этот чужой человек, принесший к нам войну, смотрит гипсовыми глазами в серенькое, низкое небо. Зачем он пришел, зачем он согласился выполнять приказы тех, кто писал на бетонной стенке форта: «Wir gehen... aber kommen wieder...»?

Затем в грохоте и свисте над «Онегой» зависает вертолет. Люди — военные и штатские — расспрашивают меня. Человек со светлыми глазами, которого называют «товарищем полковником», задает сухие, короткие вопросы.

А между тем его помощники укладывают на дощатый стол все, что хранилось в тайнике «механика» — автомат, рацию в темном ящичке, запасную обойму... Полковник рассматривает листок полупрозрачной бумаги. «Да, вы правы, это план подземных сооружений форта»

Через два часа мы уже у второго причала. На этот раз целый отряд готов ринуться под пирс, чтобы проникнуть в помещенный на плане ход. Но кто-то должен идти первым, и я обращаюсь к полковнику: «Разрешите»

Полковник разрешает. Более того, он обсуждает со мной маршрут. Вода прохладна и темна. Тело стиснуто в узкой бетонной трубе. Вниз, до расширения — теперь поворот, налево, в кирпичный коридор. Поворот рычага, и открывается ржавая решетка. Еще раз налево и вверх, вдоль стенки, отмеченной рисунком быка.

Луч фонарика скользит по ослизлым ступенькам, а навстречу, из угла, шатаясь, идет изможденный, хрипящий человек. Он обхватывает мои плечи и плачет, заходясь кашлем, плачет вволю, как не плачет в одиночестве. У меня тоже вдруг начинает першить в горле. Я забываю о том, что передо мной человек, похитивший реликвию. Только одна фраза назойливо звучит в ушах: «Не ходите, дети, в Африку гулять. Не ходите, дети...»

Может быть, в уголовной практике это первый случай, когда преступник бросается на шею оперативному работнику и выражается самыми искренними слезами.

18

Кленовый переулок вывел меня к мощенной булыжниками улице, где находилась областная больница. Дежурный сказал; что операция еще не начинали... А через полчаса я очутился около особняка с фонтанчиком.

Я позвонил и, как только открылась дверь, почувствовал знакомый легкий запах «Изумруда». Карен приложила палец к губам.

В углу, на кровати, лежала Машутка. Смуглые руки были закинута за голову, а черты лица неузнаваемо обострились.

— Уйдите, — сказала Машутка, глядя на меня. — Уйдите немедленно. Уйдите, уйдите!

Взгляд у Карен затекал.

— Она видит без конца одно и то же — как он падает, — прошептала Карен, когда мы вышли в коридор. — Без конца одно и то же — как он падает.

— Я понимаю.

Я вышел, как гость, увидевший в прихожей траурные венки. А что следовало ожидать? «Его внезапно покарай в пути — железом, кровью, огненной картечью, но, господи, прошу по-человечьи...» Его покарай — а ее прости. Так не бывает!

Может быть, она и была Гретхен, но он не был Фаустом. Его не мучили философские проблемы. Он был исполнительным, четким автоматом, убийцей и соблазнителем по профессии, воспитанным на Джеймсе Бонде.

Что ж, мы выяснили, кто кого...

«Онега» стояла у восьмого причала. Скрипел трап и блики отраженного света бегали на бортах. Я прыгнул на палубу. Навстречу шел Стасик Прошкус, «боцман». Он улыбался всем своим рябым лицом — лицом неудачника.

— Пришел! — сказал он. — Иди поешь.

В кают-компании он вытер тряпкой стол, поставил большую миску с гречневой кашей и сел напротив. «Может, не надо требовать большего? — подумал я. — Таков смысл бродячей судьбы: взамен одного дома получаешь несколько. Всегда можешь постучать в дверь, и тебе откроют».

— А где ребята? — спросил я.

— Пошли в больницу. Вдруг потребуется кровь. А меня оставили вахтенным. Четвертая группа крови. Всегда не везет.

— Ничего. Там достаточно ребят с нужной группой.

Буксиры, портовые муравьи, деловито сновали вокруг, качалась «Онега», автомобили, поднятые стрелами могучих кранов, плыли в облаках, бронзовый князь Мирослав всматривался в залив, пенсионеры на Садовой горке играли в шахматы, березки рушили хрупкими корнями кирпичные стены форта, и весь этот круговорот назывался миром. Добрым миром, над которым, как шквал, пролетел призрак войны.

— А ты не уходи от нас, — сказал «боцман» в простоте душевной. — Ты оставайся

— Я бы остался. Но у меня другая работа...





М. ЕМЦЕВ, Е. ПАРНОВ

ТРИ КВАРКА

Научно-фантастический рассказ

Рисунок Н. ФИЛИПОВА

Многие считают эту историю невероятной. Даже мне самому порой кажется, что я сделался жертвой чудовищной галлюцинации, вызванной глубинным опьянением. Если прошлое не оставляет ощутимых следов, то не уподобляется ли оно сну? Сон тоже объективная реальность. С той лишь разницей, что события, участниками которых нас делает ночь, нигде не происходят.

Чем больше я думаю о той встрече в водах Багамского архипелага, тем чаще ловлю себя на том, что фантазия подменяет реальность. Правда, всего лишь в деталях. Время всегда что-то стирает. И неуловимо для себя мы восполняем растворившиеся в памяти факты яркими вымыслами.

Я рассказывал о своих приключениях друзьям, пробовал советоваться со специалистами. И каждый раз, когда замечал, что мне изменяет память — конечно, в мелочах, — меня с новой силой охватывало сомнение. Очевидно, мои собеседники чувствовали его. Им очень хотелось верить мне, но все восставало против этого. И прежде всего мое собственное сомнение.

Вот почему, перед тем как решиться на новое повествование, я должен преодолеть внутреннее сопротивление. Это как прыжок в холодную воду, когда не очень хочешь купаться. Нужно либо одеться и уйти, либо сразу же броситься в такую волну вокруг твоих ног неприветливую волну.

...Наш «Звездочет» — маленькое океанологическое судно с вымпелом Академии наук СССР — лег в дрейф в виду заброшенного острова Инагуа. В глубине острова было озеро, на котором гнездились фламинго. По вечерам они проносились над морем, и в золотой зеркальной воде отражался неровный пламенеющий клин. Тишина вокруг стояла такая, что сердце щемило. Тишина и красота. Когда солнце, как убегающий спрут, закатывалось за горизонт и выбрасывало чернилу, море загоралось холодным и ровным светом. Бешеными всплесками огня вырывались в воздух летучие рыбы. Живые кометы с шлейфом бело-голубых брызг.

Мы называли себя великолепной семеркой. И не без некоторого основания. За четыре месяца плавания мы крепко подружились. Кроме того, нас действительно было семеро: капитан Женья, штурман и радист Модест Николаевич, механик Витя, моторист Алексей, гидробиолог Павел Константинович Танесберг, биофизик Ольга и я — начальник экспедиции.

Мы должны были собрать коллекции океанической фауны для музея и исследовать влияние изотопного состава вод на метаболизм животных. Последняя задача возлагалась на меня. Поскольку воды Багамского архипелага сильно обогащены дейтерием, я надеялся получить новые, интересные для меня данные. Впрочем, проблема эта узкоспециальная и никакого отношения к дальнейшему повествованию не имеет.

За восемь рабочих дней подводной охоты мы собрали довольно богатый урожай: несколько замечательных мурен самого отвратительного вида, четыре типа губок, любопытного мутанта краба-гравсуса, множество груперов, ярчайших морских попугаев, сержант-майоров и бо-грегори. К сожалению, в формалине их радужные краски быстро поблекли. Моллюсков в нашей коллекции были представлены коническими диодорами, грунтовыми соленами, хитонами из класса Zoricata, которые, подобно амазонским броненосцам, могут сворачиваться в клубок, и мидиями. Их мы, кстати, ежедневно поедали в сыром виде. Вообще прелесть подводной охоты особенно остро ощущается за столом. Поджаренные в кипящем масле губаны, жирные барабульки, наконец, предмет вожделения всех американских рыболовов — тарпон. Эта стокилограммовая рыба с уродливой бульдожьей мордой знаменита своими виртуозными прыжками. Попадая на крючок, она выскакивает из воды вертикально вверх на высоту в пять-шесть метров. Гулко плюхнувшись в воду, опять совершает

чудовищный прыжок, проносясь над медленно вращающимся гребнем нашего радара. Я подранил одного тарпона из подводного ружья. В смертельном прыжке рыба чуть не вырвала у меня из рук оружие. Она прыгала до тех пор, пока вода вокруг нас не окрасилась кровью. Потом линь ослабел, и я подтянул морского бульдога к себе.

Нередко мы уходили на погружение ночью. В этом есть особое очарование. Вблизи поверхности тела пловцов кажутся отлитыми из фосфорического стекла. Они скользят легко и бесшумно, как в пустоте, оставляя за собой нестерпимо яркий ртутный след. С глубиной сияние угасает. Тебя окружает глухая бархатная тьма. Вода настолько тепла, что ее совсем не чувствуешь. Здесь, как в космическом пространстве, все направления безразличны. Но вот вспыхивает фонарь, и тьма буквально взрывается каскадом ярчайших красок. Разноцветные кораллы и мшанки, морские анемоны и лилии, стеклянные аспидии и голубые лангусты.

Совсем иной, непередаваемый мир. Он заставляет забыть о голубизне неба, о пронзительном запахе хвои, об изменчивых красках восходов.

Моряки и поэты столетиями прославляли красоту океана. Но только теперь, когда человек погрузился в него, мы начинаем смутно понимать, что подлинная красота скрыта в глубине. Она лишь отдаленно мерещится нам.

Далекая, забытая родина. Когда-то мы вышли из океана. Наша соленая кровь лишь память о доисторических водах, свободно циркулировавших сквозь тела далеких неведомых предков.

Мы носим в жилах океан,
Соль первых дней творенья носим...
И этих жил мы ловим просинь
На милом трепетном виске.
Ах, волосы твои как осень...

Ее волосы растекались в водных струях, подобно водорослям. Танесберг погрузился тогда вдвоем с Ольгой. Они ловко и быстро ушли на глубину. Я хорошо видел это сверху, так как страховал их. Никелированными шариками из-под загубников аквалангов вырывались пузырьки. Качающимися вертикалями уходили на поверхность.

Я любил ее, она любила его, а он любил свою жену, которая не очень ждала его в родном Таллине.

Конечно, я и подумать не мог тогда, что вижу ее в последний раз... Голубую, стремительную, с развевающимися водорослями волос (она никогда не надевала резиновую шапочку). Иногда мне кажется, что я предчувствовал в те минуты скорую и неизбежную утрату. Но это не так. Я слишком был полон ею. Тревога и утрата были во мне постоянно. Иллюзия предчувствия появилась потом, когда Ольги не стало и прошло слишком много времени, чтобы можно было точно припомнить, как все случилось.

Нет, ничего не предвещало тогда трагедии. Трехметровая песчаная акула боялась подойти близко. Она медленно ходила по широкому кругу, опускалась на дно, вздымая быстро

успокаивающиеся вихри пелагиали. Я все время держал ее на прицеле. Мое ружье было заряжено взрывным баллончиком паралитического действия. Пока акула плавала в одиночестве, опасаться не приходилось.

Они скользили над самым коралловым рифом. Мохнатые водоросли находились в непрерывном движении. Попугаи и спинороги выныривали из колышущихся чащ, кружились вокруг розовых анемонов. Световые блики вспыхивали и пропадали, и только синяя туманная бездна выглядела безжизненной и одноликой в этом постоянно изменяющемся мире.

...Я не знаю, как это началось. Так животные, наверное, заранее чувствуют приближение землетрясения. Тишина и спокойствие. Только кричат и носятся над землей птицы, жалобно воют собаки и тихие мыши спешат скорее покинуть обремененные дома.

Откуда-то из глубины выпрыгнула стая луфарей, остроклювые серебряные сарганы с колоссальной скоростью пронеслись мимо меня, точно вылетели из минометов. Куда-то запропастилась песчаная хищница. Я не видел никакой опасности и ничего не понимал. А те двое внизу подо мной спокойно занимались своим делом. Ольга засовывала в сетку иглокожих, ножом отдирала облепившие риф раковины. Павел Константинович деловито отбирал пробы грунта, ловил маркизовым сачком планктон.

Но беззвучная паника нарастала. Извиваясь, как пиявка, проплыла мурина. Зеленая черепаха пыталась зарыться в песок, разливая в кристальной воде потоки мути. Я никогда не видел столько рыб сразу. Море вокруг меня рябило.

Из глубины вырвалась огромная восьми-девятиметровая акула: темные поперечные полосы, тупое широкое рыло, маленькие туманные глазки. Это была *Stegostoma tigrinum* — самая опасная и беспощадная хищница тропических вод. Следом за ней показалась химерическая акула-молот, способная перекусить человека пополам. Это было повальное бегство, великий рыбий исход. Все свершилось в какие-то секунды. Я не успел даже крикнуть в подводный телефон, чтобы предупредить их о надвигающейся опасности. Я увидел это...

Необъятная бурая масса с тусклой синеватой оторочкой медленно, как медуза, выплывала из синих глубин. Она закрыла собой всю синеву. Я боюсь ошибиться в размерах... Может быть, километр, а может быть, много больше. Как грязный, непроницаемый туман, заволочла она все. Конца ей не было. Она лишь нерезко утопала в отдаленных мутных пространствах. Дрожащее, переливающееся какими-то пузырьками желе. Кромка его колыбалась, как крылья гигантского ската — манты. Очень медленно поднималось оно из океанской бездны. Как привидение, как воплощение немого ужаса.

Что было со мной? Я видел ясно и все сознавал, но тело мне не повиновалось. И все вокруг тоже замерло, как остановленный кадр.

Неподвижно застыла, будто вода вокруг нее обратилась в лед, *Stegostoma tigrinum*. Следом за ней оцепенела акула-молот. И бурая масса тоже вдруг остановилась, повисла над дном. И тогда точно электрическая искра ударила громадных

рыб. Они изогнулись пополам и, конвульсивно вздрагивая, начали медленно опускаться в пузырящееся желе. Они растаяли в нем, как сахар в стакане киселя.

...Секунду спустя то же случилось с моими товарищами.

А я все видел и все сознавал, но не мог даже пальцем пошевелить. Потом меня захлестнул невыразимый ужас. Передать его невозможно, даже вспомнить пережитое ощущение я не могу. Это разрывалась каждая клетка моего тела, содрогался каждый нейрон, вскипала и пузырилась кровь. Тьма застлала мои глаза, пропасть открылась в груди, и сердце падало и падало в эту пропасть, но не могло измерить ее. И еще я пережил одиночество. Одинок космонавт на круговой орбите, спасшийся с затонувшего судна моряк на плоту посреди океана, шахтер в засыпанной штольне. И все же они одиноки не до конца. За космонавтом напряженно следит Земля, потерпевшего крушение ищут суда и самолеты, вокруг обвалившейся шахты толпятся взволнованные люди.

Для меня все исчезло. Меня заставили забыть о людях вообще: и далеких и близких, у меня отняли воспоминания и надежду; лишили всех органов чувств.

Осталось только ужас и черная пустота вокруг. Все остальное бесследно исчезло. Я успел лишь подумать, что следующим мигом придет смерть. И как мелка и не страшна была эта мысль в сравнении с непроницаемым ужасом, который со всех сторон заморозил меня!

...Очнулся я уже в Москве в больнице. Мое полное беспмятство продолжалось около двух месяцев. Капитан Женя коротко рассказал мне все остальное.

...Команда, как обычно, наблюдала за нами с борта «Звездочета». О том, что происходит в глубине, никто, конечно, не догадывался. Но меня они видели хорошо. Когда я вдруг резко согнулся и стал медленно уходить на глубину, ребята забеспокоились. Мгновенно спустили шлюпку, в которую прыгнули Модест Николаевич и Витя. Они быстро надели акваланги и запустили мотор.

Модест Николаевич догнал меня на глубине в десять метров. Мои зубы мертвой хваткой зажали загубник, но воздух из баллонов в легкие не поступал. Я не дышал. Пока меня поднимали на «Звездочет» и пытались привести в чувство на палубе, прошло минут двадцать. Женя между тем побывал в трюмном колодце со стеклянным дном. Он тоже видел это. Оно застлало все поле зрения.

Модест Николаевич даже не пытался отыскать Ольгу и Павла Константиновича. Было поздно. Он видел, как медленно погружается в расселину бурый студень, в котором исчезают парализованные рыбы. Как ни странно, с ним в воде ничего не случилось. Лишь несколько часов спустя у него начался озноб, который быстро перешел в глубокий обморок, продолжавшийся около четырех суток.

Но произошло это уже потом.

Сразу же после того, как меня подняли на палубу, Женя атаковал бурое желе тротильовыми шашками. Он поджигал короткие отрезки огнепроводного шнура и бросал шашки далеко за борт. Потом в иллюминатор колодца можно было

видеть, как медленно затягиваются в бурой массе рваные черные ямы. Она была неразделима. Величественно и равнодушно смыкалась в разрыве. Все так же медленно и непостижимо погружилась она потом в те бедны, из которых поднялась, на нашу беду.

Вокруг суденышка плавали желто-бурые водоросли саргасы и оглушенные рыбы. Море было по-прежнему неподвижным. Высоко в небе парил одинокий фрегат.

Я не знаю, что это было. И никто не знает. Я рассказал обо всем, что видел и пережил. Остальное — домыслы, игра ума. Но, отталкиваясь только от фактов, мы будем вынуждены признать собственное бессилие. Те немногие явления, свидетелем которых я оказался, не позволяют постичь сущность. Так, кажется, называются эти философские категории? Тут не помогут никакие аналогии — в окружающем нас мире их просто нет. Я столкнулся с качественно иной жизнью, управляемой совершенно другими, непостижимыми пока законами.

И все же есть нечто, от чего можно оттолкнуться. И оно внутри нас. Это ощущение. Мой ужас и непередаваемое одиночество. Порой мне кажется, что только через них мы можем постигнуть душу морского дива. Я не случайно говорю — душу. Вполне вероятно, что оно в какой-то степени разумно. Слишком уж оно необъятно, чтобы жить среди себе подобных... И жить оно должно было очень долго, прежде чем сделаться таким...

Я нанизываю свое ощущение на логическую нить. Даже если посылка неправильна, но дальнейшее рассуждение не противоречит законам логики, мы можем получить любопытный вывод. Вот почему я решаю высказать свою точку зрения. Первоначальное обобщение фактов очень далеко от абсолютной истины. Но как оно необходимо для развития идеи! Скрытые в отдельных явлениях противоречия станут заметными в их сумме. Я лучше, чем кто-либо, сознаю слабости моей схемы. Но другой-то ведь вообще нет...

Мысленно возвращаюсь к первым, как говорится, дням творения. Первичный океан, в котором зародилась жизнь...

Между кооцерватной каплей и живой клеткой лежит пропасть неведомого. Мы не знаем, какие стадии претерпел этот великий переход. Да и не столь уж это важно в данном конкретном случае. Просто я задумался над путями эволюции. По сути, мы знаем лишь один ее путь — совершенствование вида. Для эволюции отдельная особь — ничто, а вид — все. И не случайно! Нужны тысячи существ, чтобы выдержать все мыслимые и немыслимые мутации. Пусть останется лишь несколько пар, которые передадут потомству свою удивительную приспособляемость, и вид будет спасен. Это дорога безумного расточительства, расчет на самый худший случай. И потому жизнь на Земле необорима. И все же расточительство не более чем возможный вариант.

Треска мечет миллионы икринок, для того чтобы наверняка выжили, выросли и дали потомство лишь две рыбы. И это ее верный и единственный козырь в конкурентной борьбе. Расточительность — дань слабости. Так, может быть, мыслим путь экономии и силы?

И я подумал, что в первичном океане эволюция могла идти по двум руслам. Ведь природа исследует все возможности. Что в ней может протекать, то протекает. Наряду с известной нам картиной совершенствования животного мира могло происходить и совершенствование отдельной одинокой особи. Мы не знаем, как из разрозненных клеток возник первый организм. Но тем не менее считаем такой переход само собой разумеющимся. Во всяком случае, он покоится на фундаменте наших знаний и пересмотру вроде бы не подлежит. Но вот сформировался первый организм. А что дальше? Тут мы призываем на помощь идею размножения. Так возникает вид, так начинается совершенствование вида.

Ну, а если где-то в глубинах первичного океана только что сформировавшийся организм не захотел умереть и стал совершенствоваться сам? Возможен такой вариант?

Во всяком случае, он не более уязвим, чем любая из созданных нами моделей происхождения жизни. Не обязательно совершенствоваться в длинной эстафете поколений. Любой из ныне живущих организмов способен к совершенствованию. Увеличьте эту способность в тысячи раз, и вы получите бессмертное существо. Смерть особи — залог бессмертия вида. Когда же особь и вид предстают в едином лице — смерть не нужна. Такое существо не подвластно смерти.

Вот, собственно, и все мои исходные представления о генезисе чудовищного студня. Теперь немного о его психологии. Не надо бояться слов. Наделено оно сознанием или нет, какая, в сущности, разница? Просто нужна первичная схема, в которую бы достаточно непротиворечиво укладывались все известные факты.

Я испытал абсолютное одиночество, и оно заставило меня предположить, что чудовищное существо само абсолютно одиноко.

Но еще я пережил и непередаваемый, какой-то первозданный ужас. Почему же, отталкиваясь от этого ужаса, мне не попытаться обрисовать психологию чудовища, не докопаться до тех корней, которые, собственно, и порождают ужас? Такая попытка не несет в себе ничего порочного, она вполне в духе доэмпирической науки. В конце концов я смотрю на чудовище, как древнегреческий натурфилософ взирал на мир. Мы оба были лишены экспериментальных возможностей.

Каким же должно быть существо, появившееся еще в архейскую эру? Оно не подвластно смерти и не знает врагов. Все для него чужое, и оно чуждо всему живому. В темных и холодных глубинах трудно заметить течение времени. Равнодушное постоянство из века в век окружало чудовище. Ему не ведом страх, зато все живое цепенеет от ужаса при его приближении.

Это странная жизнь вне времени, без вражды и какой-либо привязанности. В море всегда вдоволь рыбы, и поэтому нет никаких забот. Может быть, нет даже эмоций и желаний. Если за миллионы лет в буром студне и пробудилось сознание, то оно непостижимо для нас, равнодушно и сумеречно. У такого существа не может быть цели, как нет ее у самой природы.

Полное отчуждение, принципиальная невозможность любых контактов. Слишком оно велико, чтобы замечать случайную добычу. Планктон или исполинский кит — для него все едино. Даже понятие добычи неведомо ему. Это всего лишь автоматический, само собой разумеющийся процесс. Здесь не надобны усилия и никаких отступлений от извечного и бесстрастного молчания глубин.

Фантазмагория. Иррациональный лабиринт, в котором мучительно бьется человеческая мысль. Вот откуда этот ледяной ужас.

Помните «Поминки по Финнегану»? Джойс там такого нагородил... Финнегану мерещится в бреду, что он вовсе не уродливый дублинец, а легендарный король Марк, преследующий Тристана и Изольду. Чайки носятся над кораблем и кричат: «Три кварка для сэра Марка...» И уже не отличаешь правду от вымысла, не знаешь где кто. Финнеган — это Марк, ты сам — это Финнеган. А тут еще загадочные три кварка. Что может быть страшнее оцепенения беспомощности?

Я не случайно заговорил о трех кварках. Не ради отдаленной аналогии между моими ощущениями и финнегановским бредом. Так случилось, что кварки перекочевали из путаной повести на страницы физических журналов. Сейчас все только о них и говорят. Теоретики считают, что в основе материи лежат, кроме легких, истинно элементарных частиц, три тяжелые частицы с дробным электрическим зарядом. Это и есть кварки. Они неуловимы, как, впрочем, и полагается по их названию. Попробуйте объяснить, что такое кварки? Это непереводаемый абсурд. Конечно, дело не в названии. Для нас важно, что они долгое время были неуловимы. Не надо думать, что я отвлекаюсь от сути повествования. Кварки, по крайней мере мне так кажется, играют в нем не последнюю роль. Посему позволю сделать небольшое, но весьма важное отступление.

Считается, что кварки могут рождаться в космических лучах высоких энергий. При столкновении частицы с энергией порядка 10^{11} — 12^{12} электрон-вольт с атомными ядрами верхних слоев атмосферы можно ожидать появления небольшого числа этих самых кварков. Как ни мало этих частиц, но они вот уже миллиарды лет пронизывают атмосферу. За столь длительный период должно было образоваться примерно сто миллиардов кварков на каждый квадратный сантиметр земной поверхности. Спрашивается, куда все они подевались?

Кварк обладает дробным зарядом. А привычные нам частицы либо вовсе не заряжены, либо обладают единичным зарядом. Поэтому кварки нельзя нейтрализовать. Они законсервировались, так сказать, навечно. Но поскольку они все же заряжены, то вокруг них будут конденсироваться водяные пары. Так вместе с образовавшейся капелькой кварк выпадает на землю, а оттуда рано или поздно просачивается в Мировой океан. Чувствуете, к чему я клоню? Примерно за пять миллиардов лет в каждом кубическом километре воды могло накопиться около одного миллиграмма кварков.

Но, к сожалению, и в миллион раз большее их количество

до сих пор не смог обнаружить ни один известный нам метод физико-химического анализа. Слишком уж мала концентрация.

Все это вещи достаточно известные. Но вот недавно я познакомился со списком новых нобелевских лауреатов. Среди них два шведских физика, удостоенных премии за обнаружение частиц с дробным электрическим зарядом. Они выделили эти частицы из океанской воды. Невозможное оказалось возможным. Секрет в том, что шведы брали пробы воды из глубоких впадин. Они предположили, что кварки, как и тяжелая вода, могут концентрироваться в отдельных местах Мирового океана. Конечно, проделали тысячи проб, переработали сотни тонн воды и все такое. Но успех — налицо.

Впрочем, самое захватывающее не в этом. Для меня важно, что кварки обнаружены в пробах, взятых с глубоких впадин Южных морей. Именно тех морей, где недавно водолазы чилийской гидрографической экспедиции встретили то самое чудовище. Описания поразительно сходятся! Можете с ними ознакомиться сами. Сообщения об этом появились в нашей печати. Возьмите хотя бы журнал «Мир науки».

Я не хочу делать никаких выводов, но некоторые сопоставления прямо сами напрашиваются. Что, если бурый студень зародился в тех впадинах абиссали, где была наиболее высокая концентрация кварков?

Это же предполагает совсем иную организацию, схему метаболизма, энергетический баланс. Жизнь на принципиально другой основе.

Так уж случилось, что я столкнулся с этой жизнью лицом к лицу. И между нами прошла смерть.

Равнодушные, которого не может быть без души; беспощадность, которая не существует вне привычных человеку эмоций. Она творит зло, не ведая ни зла, ни добра, сеет ужас, никогда его не испытывая; убивает, не зная смерти. Она одинока, эта жизнь, и не одинока, потому что ей никогда не осознать своего одиночества.

Мы, люди, сильны тем, что нас много. В жизни и смерти каждого из нас источник бессмертия человечества. И то, что мы считаем самым прекрасным и высоким, дано нам потому, что мы смертны. Вот в чем все дело.

А бурый студень — это отброшенный природой вариант, издержки эксперимента.

...Король Марк летит в погоню за прекрасной Изольдой. Зеленые белогривые волны вздымают норманнскую ладью. А чайки почти задевают крылом напруженный парус:

Три кварка, три кварка...

Это изначально в человеке. Вот почему он никогда не завидовал бессмертным богам.





Н. НИКОЛАЕВ

И НИКАКОЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ

Рассказ



Рисунки В. КОВЕНАЦКОГО

Он вошел в диспетчерскую, огромный, в собачьих унтах, в собачьей шубе мехом внутрь и с маленьким чемоданчиком в руке.

— Ну как?

Доктор задал вопрос, ни к кому не обращаясь, хотя в жарко

натопленной комнате было трое: диспетчер, кассирша и великорослый мужчина в форменном кителе с ярко начищенными пуговицами — начальник аэропорта.

— Все так же.. — меланхолично ответил начальник аэропорта.

— Я получил четвертую радиограмму. Четвертую!

— Синоптики снова дают минус пятьдесят пять. И в Верном туман.

— Я должен там быть сегодня.

Начальник аэропорта подошел к барьеру, который отделял служебное помещение от закутка для посетителей. Теперь начальник и врач стояли друг против друга. Они были одного роста и возраста.

— Вы, доктор, возьмите сейчас топор и ударьте по замерзшей дровине. Расколется топор. Понимаете?

— Я не занимаюсь физическими опытами. Я лечу людей.

— Этот опыт был бы полезен, — начальник аэропорта произнес это голосом профессионально терпеливым, профессионально вежливым, и одновременно слышались в его тоне нотки раздраженного администратора.

— Я получил четвертую радиограмму, — настойчиво проговорил врач.

— Доктор, поймите, я не могу отвечать за сталь винта. Хотя комиссия по расследованию катастрофы, наверное, займется и этим.

— Прочитайте четвертую радиограмму.

Начальник аэропорта взял бумажку. Он прочитал ее раз, потом еще, посмотрел на доктора.

— Я не могу поручиться за сталь. Ни вы, ни я не можем поручиться за сталь. Вы меня понимаете? И есть, понимаете, инструкция. Я... да и не только я... Кто может выпустить вертолет в такую стужу? Сам я не пилот.

— Понимаю — инструкция прежде всего.

Начальник аэропорта поморщился, замочал головой, словно врач неосторожно ткнул в обнаженный нерв его зуба.

— Доктор, давайте я вас на руках, пешком туда донесу! Понимаете?

— Вы тоже поймите, товарищ начальник... Рискните!

— Это не риск. Это другое. Это все равно как бросить горящую паклю в цистерну с бензином и надеяться, что взрыва не будет.

— Тот, кто умрет в четверг, тому не придется умирать в пятницу... Так написано в одном знаменитом романе. Может, читали?

Начальник аэропорта развел руками и, посмотрев на доктора, сказал:

— Даже если летчик согласится, я вас не выпущу.

— Речь идет о жизни ребенка... В поселке только большие МАЗы. Лед на реке не выдержит и порожнюю машину.

— Берите меня в попутчики.

— Знаю, вы не шутите. Я слышал, как вы в прошлом году, когда случилась авария и тоже была плохая погода...

— При чем здесь... — перебил начальник аэропорта. — Я слышал, приехал Ефим. Он на «газике». Сто туда, сто обрат-

но... Попробуйте уговорить. — Начальник аэропорта потупился и пожал очень широкими плечами, для которых форменный мундир казался узким.

Громадный в своих меховых одеждах доктор топтался перед служебной перегородкой.

— Полчаса. Полчаса всего. Или почти полсуток, — проговаривал он внятно и вслух прочитал текст рекламного плаката, висевшего на стене: — «Экономьте время — летайте самолетами!» Где Ефим?

— В комнате для приезжающих.

* * *

— «Газик» на ходу. С вас бутылку спирта, — сказал Ефим после долгого монолога доктора.

Ефим был мелок и шупл. Он выглядел таким даже на узкой гостиничной койке, на которой лежал, пока доктор говорил. Но думал шофер о чем-то своем, потому что перебил врача неожиданно, когда тот достал из кармана радиogramму. Потом Ефим поднялся, влез в промасленный ватник, кинул на голову ушанку военного образца.

— Значит, договорились?

— За что? — спросил доктор. — Спирт за что?

— Как вас зовут?

— Владимир Петрович.

— За интерес, Владимир Петрович.

— Не выйдет.

— Не скупитесь. Вы больше на вату выльете, — сказал Ефим и снял шапку.

— Нет.

Ефим усмехнулся, и было видно, что это его условие непременно. Шофер сел на стул, достал мятую пачку «Беломора» и принялся рыться в ней, отыскивая целую папиросу.

— Здесь до вас доктор был, — проговорил Ефим, все еще роясь в мятой пачке. — Старичок. Помер. Хороший был старичок. Добрый.

В руках у доктора все еще была бумажка — официальный почтовый бланк — радиogramма. Владимир Петрович повертел бланк в пальцах, хотел зачитать текст, но раздумал, убрал в карман.

— Ладно, черт с вами...

— Эт-та... Хорошо.

— Давайте ваш «газик». У меня нет возможности торговаться.

— Я не торгуюсь, — улыбнулся Ефим.

Лицо у него было лоснящееся на щеках и подбородке, а вокруг глаз словно наклеплена маска из морщин, как у старых местных жителей, сызмальства привыкших подолгу смотреть на искрящийся снег. Доктору показалось, что и улыбка у Ефима местной жительская: добродушная и непреклонная.

Они вышли сквозь облако плотного морозного пара, вломившегося в открытую дверь.

Крупное, плывшее вдоль горизонта солнце словно озябло и, не особенно утруждаясь, ждало лишь своего часа, чтоб обратиться за дальний колючий лес.

У доктора, распарившегося в комнате, перехватило от холода дыхание. Он закашлялся и пошел медленнее, чтоб отдышаться.

С белого застывшего неба бесперечь сыпалась сверкающая пыль. Она оседала на землю, лепилась к стенам домов, забивалась под карнизы. И все кругом выглядело сизым от этой морозной пыли.

Доктор достал из наружного кармана светофильтры и надел их. Он шел, не оборачиваясь, но явственно слышал, как повизгивают, перебивая мерный скрип его унт, валенки шофера, семенившего на полшага сзади.

— По вербовке здесь? — Доктор пытался на ходу протереть мгновенно запотевшие стекла очков, и вопрос его прозвучал очень официально, даже резковато.

Ефим чуть помедлил с ответом:

— И по вербовке...

Не дожидаясь приглашения, доктор открыл дверцу «газика»:

— К больнице.

— Очень душевный человек был старый доктор.

Мотор заработал сразу, словно ждал, когда Ефим дотронется до кнопки стартера.

— Он лет тридцать жил здесь.

— Он был не доктор. Он фельдшер. Он не получил диплома врача.

— Вы давно получили диплом?

— В этом году.

— И сразу стали доктором?

— Да.

— Мало я с вас запросил...

Тогда доктор достал радиogramму и протянул ее Ефиму. Шофер покосился на бланк. Потом он пожал плечами, словно увиденное им было написано на незнакомом языке.

Машина остановилась у больницы.

— Минутку.

Владимир Петрович действительно вернулся через минуку.

— К магазину.

— Там нет спирта.

— Для меня найдут.

Ефим покосился на доктора и опять пожал плечами, точно слышал слова на незнакомом языке. Затормозил. Доктор вышел из магазина очень скоро. Он держал бутылку спирта.

«Такова цена человеческой жизни. Иногда...» — подумал Владимир Петрович с горечью и протянул бутылку Ефиму, который топтался у машины. Тот принял спирт равнодушно, даже с пренебрежением.

— Я ж на двоих.

— Простите... — сказал доктор. Он был молод, но когда чересчур сердился, то старался говорить, как очень пожилые люди, как говаривал его отец.

— Вам и мне.

— Я слышал одно хорошее изречение, — сказал Владимир Петрович назидательно. Он любил назидания, когда исполнял служебные обязанности. — Так вот, — продолжал доктор, глядя на щуплую спину Ефима, который позволил себе напомнить о его молодости и вдобавок усомнился в его способ-

ностях врача. — Пить нельзя в двух случаях: когда работаешь и когда сражаешься.

Ефим грузно сел в машину.

Отвратительный запах стывшего бензина и табака. От него спирало в горле, но доктор молчал. Стиснув зубы, он смотрел в ветровое стекло на поселок из двух десятков домов, которые, казалось, сжались от мороза и лишь осторожно дышали белыми струйками. Дым поднимался прямо, но на высоте растекался и стлался над поселком оранжево-синим, подсвеченным солнцем пологом.

Сквозь шум мотора стал слышен визг покрышек по вымороженному снегу.

За поселком дорога шла меж низкорослых заиндеветших деревьев. Лиственницы, мелкие и хилые, торчали вкривь и вкось, словно их понатыкали небрежно и случайно. Доктор подумал, что похоже, будто перед ним негатив снимка.

Вскоре они спустились на реку, которая и служила дорогой, единственной и коварной.

* * *

Они ехали уже часа четыре. Давно стемнело. Луны не было, и звезды — только самые яркие — просвечивали сквозь белеющую пелену, затянувшую небо. По берегам росли ели, потому что здесь было теплее, но об этом доктор подумал, когда еще было светло, а сейчас не стало видно ни берегов, ни реки, лишь яркое пятно света маячило перед машиной. Наметов на льду не было, «газик» шел ровно, и создавалось утомительное ощущение неподвижности. Лишь время от времени Владимир Петрович чувствовал, как машина плавно разворачивалась, огибая мысы, въезжала в заливы, строго следуя за всеми извивами берега.

Порой глаза доктора невольно закрывались, и ему стоило усилий открыть их и заставить себя не спать. Но проходило несколько минут, и, словно застывшее пятно света перед машиной, утомительно яркое и пустое, гипнотизировало, веки смежались опять.

Ефим чиркнул спичкой, закурил.

Это вывело доктора из полудремы. Он не выдержал, наконец, и заговорил:

— Зачем мы плетемся вдоль берега?

Ефим пыхнул папирсой:

— Надежнее.

— Тем, что длиннее?

— Вон посмотрите — на стрежне то тут, то там промоины паруют. Не может мороз с рекой справиться. Течение быстрее. А здесь, по заберегам, лед прочнее.

— Долго еще нам плестись?

— Километров двадцать пять... эт-та.

— С гаком?

Доктор пытался пошутить. Теперь, когда цель была близка, ему захотелось помириться с Ефимом. Выручил он все-таки. Все-таки малыш в дальнем поселке получит помощь.

— Что вы все «эт-та» говорите?

— Дочка у меня. Пять лет. Ругаться нельзя. Не курите?
— Иван Петрович Павлов, великий русский физиолог, сказал: «Не огорчайте ваше сердце табачищем...»
— «Не огорчайте...» Добрый был человек. Как старый доктор.

— Он курил?

— Кто? — переспросил Ефим.

— Фельдшер, которого вы доктором зовете.

— И пил... Как же это вам спирт в магазине дали?

— Я и запретил продавать.

— Благодетель... — пробубнил Ефим, но, подумав, добавил: — Оно, конечно, правильно. Вам работы меньше. А то на такой холодюге отморозит кто какую-нибудь конечность.

— Я о людях думаю. Работы не боюсь. В медицине главное — профилактика.

— Как и в нашем, шоферском, деле, значит, — сказал Ефим и подумал, что любопытный человек доктор. В деле своем, видно, толк знает, а говорить начнет, словно начальник гаража, который сам не расписывается на бумагах, а печатку резиновую со своей подписью приляпывает.

Свет фар впереди машины странно вильнул. Послышался треск. Владимир Петрович ударился головой о ветровое стекло, зажмурился. Его швырнуло обратно на сиденье, он открыл глаза и увидел: свет фар призрачно шевелится в водяных струях.

Ефим орал во все горло какое-то длинное ругательство.

Сначала Владимир Петрович ничего не мог понять: ни причины толчка, ни треска, ни того, почему ослепляюще утомительное пятно теперь выглядело черным. Только почувствовав, как отяжелели ноги и нечто холодное облепило его по пояс и с каждым мгновением тяжесть и холод поднимаются выше и проникают к телу, доктор осознал происшедшее: машина провалилась, и они тонут.

— Вылезай! Вылезай, — толкал его изо всех сил Ефим.

Тогда доктор увидел воду в кабине, с всплеском сунул в нее руку в перчатке, нащупал и рванул запор. Плечом открыл дверцу. Вода ринулась в машину потоком. Брызги летели в лицо. Сжимая в одной руке чемоданчик с инструментами и медикаментами, другой — опершись о спинку кресла, доктор пролез в дверцу и увидел закраину льда. Она была рядом. Он оперся о лед грудью, но лед хрустнул, и Владимир Петрович едва удержался. Тогда, не выпуская чемоданчика, он ухватился левой за верх «газика», а правой стал бить по льду, обламывая слабый край.

Он делал это бессознательно, в слепой жажде выбраться, хотя в его сознании, точно брызги ледяной воды, замерли не определившиеся еще мысли о бесполезности всего, что он делает. Он ощущал на влажном лице слабое, но жгущее морозом дыхание встерка, который всегда тянет вдоль реки. Наконец лед перестал обламываться под ударами. Владимир Петрович подался назад, собрался и оттолкнулся от подножки машины, на которой стоял.

Он плюхнулся на закраину животом. Лед выдержал. Доктор подтянул левую руку, сжимавшую чемоданчик, поставил его на

снег. Все его силы отняли эти несколько секунд борьбы. И страх. Ошеломляющий, деревенящий, какого он не испытывал никогда в жизни. Он несколько раз глубоко вздохнул, и лишь тогда у него достало воли заставить себя вытащить из воды одну ногу, потом другую.

Он пополз.

— Стой!

Доктор остановился.

— Поворачивай!

Он вернулся на четвереньках к промоине, из которой виден был лишь верх «газика». Увидел Ефима. Тот стоял на подножке и что-то держал в руке.

— Держи.

Владимир Петрович протянул правую руку и взял бутылку. Под левой, на которую он опирался, треснул лед. Доктор коротко взвизгнул. Попятился. Он видел, как Ефим взобрался на крышу и прыгнул оттуда, словно нырнул на кромку. Упал. Охнул. Послышался треск льда. Владимир Петрович боком, покрабьи, отполз подальше от полыньи. За ним полз Ефим, поджав правую руку.

— Хватит, — приказал шофер.

Ефим стал на колени. Топнул ногой по льду. Из валенка фыркнула вода. Осыпалась льдинками.

Они поднялись. Им была видна промоина, в которую угодила машина, и призрачный свет фар под водой.

Ефим длинно и замысловато выругался.

— Костер надо развести.

— Чем? — зло спросил Ефим.

— Сколько осталось до поселка?

— Пятнадцать...

— Конеч... — проговорил доктор, еще не осознав толком сказанное. Но раз произнесенное, это слово, будто эхо, замесалось в сознании. И тогда он почувствовал, как холод сначала иглами, кое-где, а потом все плотнее и плотнее сковывает его. Холод и жуть. Под их натиском сжалось в комок сердце.

— Не дойдем... и километра... — Зубы доктора стучали. Он ощущал, как белье на нем становится льдом. — Конеч...

Ефим резко, левой, ударил доктора в подбородок.

Доктор сел на лед.

— Глупо... — проговорил Владимир Петрович, коченея. — Глупо...

И неожиданно для себя произнес длинную фразу. Она вертелась у него в мозгу, может быть, даже раньше, чем он в первый раз выговорил: «Конеч».

— Один сказал... Если умрешь... в четверг, то... не придется умирать в пятницу.

— Дай...

Ефим вынул из руки доктора бутылку со спиртом, выдернул пробку зубами и отпил. Протянул доктору.

— Пей!

Усмехнувшись, доктор отпил большой глоток спирта, который показался ему просто очень пресной водой. Ефим отобрал бутылку, посмотрел на нее, швырнул в сторону.

— Я постараюсь умереть в субботу. А лучше — в понедельник... Вставай!

Владимир Петрович качнулся. Заскрипел. Подумал, что скрипят зубы, но понял — одежда. Замерзла: шевельнешься — скрипит. Доктор честно пытался подняться, но не смог: он вмерз в свои меха. Ефим зашел сбоку. Ткнул в плечо. Доктор упал на бок. Затем самостоятельно, скрежеща и повизгивая оледеневшей шубой и унтами, стал на четвереньки, поднялся.

— Посмотри, — Ефим с противным ледовым скрипом протянул доктору правую руку. — Не слушается.

Ощупав запястье, Владимир Петрович сказал:

— Перелом. Закрытый. Обеих костей.

— Нехорошо.

— Нехорошо, — согласился Владимир Петрович и подумал: наверное, руку выше запястья придется ампутировать. Она отмерзнет. Первое, что отмерзнет у Ефима, — это сломанная правая рука.

— Иди за мной. Не отставай.

Подняв чемоданчик, доктор пошел за Ефимом. Шаги у Ефима были короткие, и доктору приходилось семенить. Он ставил свои унты след в след. Так казалось легче и даже спокойнее идти. Он как бы говорил себе, что вот я делаю по настоянию спутника явную глупость. Через километр стиснутое льдом тело откажется служить. Такое сильное переохлаждение... Остановится сердце. Просто возьмет и остановится. Пятнадцать километров! Двадцать минут... Нет, тридцать минут — километр. Семь с половиной часов ходьбы. Минус пятьдесят пять... И мокрые. До нитки. До костей. Просто остановится сердце. «А лучше в понедельник». Какой сегодня день?

Неважно, какой сегодня день.

Доктор ощутил — чемоданчик очень легкий. Не требовалось усилий, чтобы его нести. Лед крепко-накрепко приковал чемоданчик к руке, к промерзшей перчатке. И на все тело надета ледяная перчатка.

Он продолжал идти след в след за Ефимом, машинально, пока на смену тупому равнодушию не пришло некоторое удивление: лицо уже давно потеряло чувствительность, а тело продолжало ощущать противное влажное прикосновение мокрой одежды, словно оно обладало постоянной температурой и не становилось ни теплее, ни холоднее.

«Мы в ледяных скафандрах... — И эта мысль неожиданно показалась столь необыкновенной, что доктор на некоторое время забыл о холоде. — Мороз сам создал себе преграду. Он не может проникнуть сквозь ледяную корку. Но это отсрочка. Только отсрочка. А сколько мы прошли? Сколько времени мы идем?..»

Владимир Петрович хотел оглянуться. Но сил не хватило. Закружилась голова. Он побоялся упасть и не подняться. Хотел взглянуть на часы, но это тоже оказалось невозможным.

«Какое это имеет значение? — подумал он. — Все равно через полчаса, через час холод доконает сердце. Я стану звенящим, как сталь...»

Он так и замер с поднятой для шага ногой. Ступать было некуда. На пути лежали валенки Ефима. Доктор посмотрел

вперед и увидел, что шофер упал ничком. Владимир Петрович пнул ногой валенок Ефима. Шофер не пошевелился.

«Ну вот, — вздохнул доктор. — Для него отсрочка кончилась. Ефим, Ефим, ты думал, что справишься с морозом... Все равно оставлять тебя нельзя. Я знаю, ты еще жив. Надо тащить. Как же я оставляю тебя? Надо тащить...»

Обойдя лежащего, доктор с треском и скрежетом пригнулся, потом стал колотить рукой по коленке, чтобы разбигь лед на варежке, и, наконец, заставил онемевшие пальцы согнуться, кое-как зацепился за шиворот промасленного и плохо промерзшего ватника, сделал шаг вперед и потянул за собой Ефима.

Теперь мысли доктора потекли по другому руслу.

В том, что Ефим выбился из сил, виноват не только мороз, но и болевой шок от перелома. Он стал думать, что надо бы сделать Ефиму укол камфары и строфантина. Хорошо растереть его шерстяной тканью, а лучше вязаным платком. Но он понимал, что ничего этого он не сможет сделать, ровным счетом ничего, ни черта. Доктору было очень обидно и больно. От сознания своего бессилия делалось тошно, совсем плохо и



силы таяли быстро. Он задышался, дышал часто. «Одними верхушками легких, — так подумал он. — Только бы не упасть... Еще шаг, еще один... Плохо. Плохо».

Он зажмурился. Яркое пятно света легло у самых ног. Доктор решил, что это и есть «все», но упрямо шагнул вперед и уперся в нечто темное, которое не пустило его дальше, в какую-то стену.

Потом его окружили люди. Подняли Ефима. И его самого понесли, сунули в темный кузов, где мороз все-таки был слабее и дышать было легче. Заставили пить очень пресную воду. Еще и еще. Дышать стало свободнее. Сквозь шапку, превратившуюся в ледяной гермошлем, доктор начал слышать звуки. С него хотели снять варежки, но, скрепя леденелой одеждой, Владимир Петрович упирался и твердил:

— Его... Его... Ефима...

— Раньше, раньше хотели вас встретить... — дошли, наконец, до него слова. — Сами ухнули... Выбрались...

— Как Ефим?

— Дышит.

— Как мальчик?

— Плохо. Очень плохо.

Доктору опять дали пресной воды.

— Не надо. Я не пью.

— Надо!

Теперь доктор понял: ему кричат на ухо, чтобы он слышал.

Постепенно сознание Владимира Петровича приобретало прозрачную ясность. Судороги отпустили грудь.

— Скоро?

— Уже, уже. Подъезжаем.

Его вытащили из кузова. Подхватили, ввели в помещение. От теплоты перехватило дух.

— Снимайте!

Кто-то пытался стянуть заледеневшую шубу, но одежда даже не скрипела — такой прочной была броня льда.

— Режьте! Рубите! — Подумав, доктор добавил: — Положите на пол, удобнее будет.

Его положили на пол и стали бить и стучать по ледяным латам. «Топором... — догадался Владимир Петрович. — Хорошо. Быстро. Разрубят лед быстро».

Кто-то подлез ножом под подбородок. Хрустнули завязки. Затем кто-то с усилием стал отламывать куски ушанки. Скрежет казался оглушающим. Наконец содрали ее целиком, с клоком волос. Было больно, но доктор подумал, что это хорошо, если больно. Он стал слышать. Однако по-прежнему не улавливал различия в людях, его окружавших.

— Осторожнее... Теперь ножом.

Послышался треск. Потом скрип разламываемой одежды. Ее срубали, срезали и сламывали по частям. Это была долгая операция, и доктор торопил. Когда все было кончено, его подняли, набросили одеяло. Но идти он не мог, не чувствовал опоры, словно тыкал в пол костями.

— Ведите.

Повели под руки. Он вошел в комнату, и снова перехватило дыхание от жара. В кровати лежал тук из одеял, покрытый

сверх шубой. Доктор с трудом нашел и разглядел багровое личико ребенка.

— Температура?

— Сорок и шесть десятых.

— В комнате?! — рывкнул Владимир Петрович. Он не доверял своим ощущениям. Его трясло и знобило.

— Двадцать восемь, — ответили после недолгого молчания.

— Раздеть! Ребенка раздеть! Укутали!

Доктор сел на подставленный стул. Кто-то все время тер ему руки. Владимир Петрович не чувствовал, а видел, что это делают. Рук у него словно и не было. Только глаза. И они слезились. Он приказывал их поминутно вытирать.

— Пенициллин!

Ему что-то говорили о неумении, но он не слушал и не хотел слушать. Он приказывал. Молодая женщина — мать ребенка — послушными, даже спокойными от его окриков руками сама сделала малышу укол, хотя, наверное, никогда в жизни не держала шприц.

Потом закутанный в одеяло Владимир Петрович прошел к Ефиму и сказал, что нужно сделать шоферу, и проследил. Заплетающимся языком приказал позаботиться о себе.

* * *

Доктор проснулся. Он не двинулся, не открыл глаз, только понял — проснулся.

«Глупо... Очень глупо, что я вчера накричал на родителей. Откуда они могли знать, что у ребенка ангина, а не дифтерит? Никто без меня не мог решить, что с ребенком. И что ему необходимо сделать.

И если бы мы погибли в четверг, то в пятницу сюда поехал бы другой врач, из более дальнего поселка. Может быть, ему повезло и он доехал бы. Или даже прилетел».

Доктор усмехнулся, попытался пошевелиться. И почувствовал себя покореженным и изломанным. Болело все тело, ныла каждая косточка. Он вспомнил, как сидел на снегу, а Ефим бил его, заставляя подняться и идти. И фраза: «А лучше — в понедельник», прозвучала в его сознании тоже как удар.

Ему стало стыдно, и стыд ощущался, словно боль, но был сильнее боли. Он застонал.

Владимир Петрович открыл глаза. Он лежал в комнате с занавешенным окном. В щели пробивался солнечный свет. Он сел на кровати. Ощутил, что на лице содрана кожа.

«Перестарались...» — подумал он угрюмо.

Кто-то заглянул в дверь.

— Войдите. Как малыш?

— Смотрит. Улыбнулся матери.

— Уколы делали?

— Да. И Ефим встал.

— Достаньте мне бутылку спирта.

Человек вышел. Хлопнула входная дверь. Потом снова запыхавшийся человек вошел в комнату, поставил на стол бутылку.

— Во что бы одеться?..

Мужчина принес одежду. Она была великовата даже для док-

тора. Руки еще плохо слушались. Они казались ошпаренными. Владимир Петрович долго натягивал на себя принесенные вещи. Это еще больше рассердило его. Доктор сунул бутылку во внутренний карман куртки, и ему сказали, как пройти к Ефиму.

— Докгорт! Как прогулочка? — Ефим сидел у стола и пил чай. Правая рука его висела на перевязи.

Владимир Петрович присел к столу и, сам не зная почему, принялся объяснять Ефиму, что с ребенком и отчего это произошло.

— Долг вот принес, — закончил доктор неожиданно и поставил на стол бутылку.

Но тут же Владимир Петрович почувствовал, что ему хочется сжаться, стать маленьким и неприметным под взглядом шофера. Глаза Ефима побелели, словно небо от мороза. И доктор действительно сник. Опустил глаза, съежился на стуле, пока через мгновенье не пришла в голову лживая, но примиряющая мысль.

— Я ж на двоих... — доктор попытался улыбнуться.

Взгляд Ефима потеплел, и он ответил улыбкой, подмигнув:

— А как насчет понедельника?

— Думаю, что и вторник не подойдет, среда — тоже. И никакой день недели.





ЗОЛОТАЯ

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

[[му еще не разрешали вставать, но Федор одолжил костыли, халат и тапочки у соседа и поднялся с койки. Дрожали ноги, кружилась голова, мутило, тело покрылось противным потом, который сочился по хребту меж лопаток. А ведь Федор еще даже не вышел из палаты.

— Федя, вертался бы ты на место, — сказал раненый, лежавший на койке у входа.

— Нет, — упрямо прохрипел Федор. Задержавшись, он отер ладонями лицо, словно умылся.

Окончание. Начало в предыдущем выпуске.



НИКОЛАЙ КОРОТЕЕВ

«СЛАВА»

Рисунки Ю. МАКАРОВА

— Ты что же, нарочно? Шлепнуться хочешь? Чтоб в госпитале побольше побыть?

Федор прикусил губу.

Палата молчала. Раненый у входа был обречен. Все это знали, и Федор тоже знал. Обреченному многое прощали...

— Ну и дурак,— неожиданно заключил раненый у входа.

На секунду Федор привалился к косяку, перевел дух и шагнул за дверь. У него была цель. Он убедил себя: если в день, когда он встанет, ему удастся дойти до конца коридора, до окна, то все будет хорошо. Он вылечится и, опять отправится на фронт, хотя врачи утверждали, будто «такой возможности не

предвидится». Однако сам Федор не предвидел никакой другой «возможности». Он не представлял иной жизни, кроме как жизни на фронте, иных отношений, кроме солдатского братства. Когда раненые в палате заводили разговоры о довоенной жизни, о своих специальностях и профессиях, спорили о чем-то, мечтали уставаясь в потолок, вздыхали: «а бывало...» или: «помню, как...», Федор безучастно таращился в окно, затянутое искристыми морозными листьями. Он будто и не помнил этой своей «довоенной» жизни. Она выглядела такой незначительной, нескладной, оборвавшейся раньше, чем он понял, какова же она. Шесть классов, поехали отдохнуть к бабушке, а попали в полями войны. Фронтные воспоминания начинались не так. Там все было точно: «Под Ржевом это случилось, зимой...» Все становилось простым и ясным. Тогда Федору было что рассказать. И Федор горячился, спорил, доказывал правильность действий того или иного рассказчика в бою. Это было интересно, увлекательно.

Но, если разговоры «а бывало...» и «помню, как...» напоминали ему все-таки что-то: блеск реки, соседских голубей, Дворец культуры, куда мама водила его три раза в неделю и он там пел, читал стихи:

...Качаются в седлах бойцы и молчат,
и только копыта о землю стучат... —

то мечты о будущем: «вот добьем гада...» или «вернусь я домой...», которым так охотно предавались раненые, совсем не представлялись Федору. Он не представлял себя в том мире, где люди старше его чувствовали себя уверенно и свободно. Поэтому возвращение в часть, в землянку разведчиков, к Королеву, Глыбе, к «тройному» Ивану становилось конечной целью, без которой жизнь теряла свои реальные очертания.

Федор шагнул в коридор. Он знал: там, в дальнем конце, у окна на круглом столе, покрытом простыней с черным госпитальным клеймом, стоял аквариум. Даже не аквариум. Просто большая стеклянная банка. И в ней плавали золотые рыбки, водоросли.

Его сосед по палате кормил рыбок и ухаживал за ними. Рыбки Федора не интересовали, но он знал, что до конца коридора добирались лишь окрепшие раненые, которые явно шли на поправку.

Банка на столе была косо освещена солнцем. Федор двинулся к ней. Шагов десять дались ему легко, но потом он покачнулся и, подавшись в сторону, привалился к стене. Глаза он не закрыл: боялся, что потеряет равновесие. Слабость усилилась, внутри что-то противно дергалось, к горлу подступил ком. Тогда он решил идти во что бы то ни стало и пошел. Ноги словно не находили опоры, костыли не слушались. Он взмахивал ими, словно крыльями, скачками продвигался вперед, оказывался то у одной стены, то у другой. Но Федор не сводил глаз с яркого, солнечного пятна в конце коридора, и оно приближалось с каждым мгновением.

Федор рухнул на лавку в полуобмороке. Взыла болью рана на бедре, голова раскалывалась. Однако когда Федор уже смог оценить себя, он ощутил на своих губах улыбку. Тогда он сел

поудобнее, облокотился на стол, увидел аквариум, пронизанный косыми лучами солнца. Блики, отраженные от стенок, от поверхности воды, слепили. И было приятно сощуриться. Потом он чуть отодвинулся, захотелось посмотреть рыбок. Но резкое по забывчивости движение разбудило боль, и он, ожидая, пока она уляжется и затает, смежил веки. Но и сквозь прикрытые веки он ощущал игру солнечных бликов: они были то ярко-розовые, то красные. Вдруг память досказала остальное: реку, залитую солнцем, запах сохнущего песка, знойный жар. Голос отца: «Не трусишь?» И его, Федорова, звонкое: «Нет!»

Они в тот день переплыли Урал. Это произошло перед отъездом, в очень редкий выходной, самый праздничный из всех выходных, потому что с ним был отец...

Вот и теперь Федор почувствовал: все обойдется! Две недели назад он получил от отца оказией записку. Несколько строк: «Узнал все о маме и о тебе. Жаль, что нам с тобой нет возможности увидеться. Писать обо всем тоже нельзя—сам понимаешь: военная тайна. Очень обрадовался, услышав о тебе такие отзвухи. Сожалею, что ты не кавалерист. Передал бы я тебе свою золотую саблю. Поздравляю тебя со вступлением в комсомол. Мне сказали: стал ты комсомольцем в тылу врага, в партизанском отряде. Пришлось и тебе попартизанить, как и мне в свое время. Будь настоящим солдатом. Обнимаю. Отец».

Но последние два слова были жирно зачеркнуты. И написаны другие. «Целую. Папа». Это Федор расценил как маленькое отступление от принятого в записке обычного тона отца. «Как же ему тяжело», — подумал тогда Федор.

Воспоминание об отце было приятным и радостным. Даже боль прошла. Федор открыл глаза.

Воду в банке по-прежнему пронизывало низкое косое солнце, но блики уже не слепили. Они мягко играли на усталом песке. Водоросли перестали выглядеть просто черными теньями. Они были зелеными и свежими, такими зелеными и свежими, какими только могут быть водоросли в чистой, прозрачной воде, пронизанной солнцем.

Рыбки тоже просвечивали насквозь. Они вроде только что начали плавать и до этой поры оставались как бы неподвижными. Слегка качнув плавниками, они двинулись друг за дружкой, казалось, строго соблюдая дистанцию. Церемония продолжалась, пока рыбки не сделали вдоль стенок круга два. Затем одна опустилась ко дну, взбила там клубочки песка и, распластав плавники, вознеслась к водорослям.

Кольцо распалось.

Теперь рыбки плавали в беспорядке, старательно пересекая курс одна другой, но на разных уровнях.

В сознании Федора мелькнуло сожаление, что он ничего не знает о рыбах. Он почувствовал словно потерю, оттого что не знал о них раньше, — много-много раньше, чем сегодня. Он понимал: ничего не изменилось бы, но ему было бы, наверное, легче. Может быть, и намного легче — его связывало с жизнью на одну ниточку больше, как такие вот ниточки связывали с жизнью Кузьму Королева — его любовь к пчелам или как Семёна Петровича, соседа по госпитальной койке — его любовь к золотым рыбкам.

«Почему я не подумал об этом раньше? — спросил себя Федор. — Потому что я видел только потолки, потолки... Дверные проемы — точно предел... Почти год непрерывной боли, отчаянных ночей, надежд, перемежаванных кошмарами. И вот я добрался до стола у окна в конце коридора...»

Федор вздрогнул.

Одна рыбешка подплыла к стенке банки как раз против его лица. Забавная, смешная рыбешка. Она смотрела на Федора черными выпученными глазами, ротастая, как девчонка-подросток. Она старательно, плавно разевала рот, яркий, точно подкрашенный, будто выговаривала: «Че-го те-бе на-доб-но?..»

Не в силах сдержать улыбки, Федор так же старательно и плавно пошевелил губами и немо проговорил: «Ни-че-го...»

Ведь чудо уже свершилось. Его снова и еще больше заинтересовал мир, в который он словно вернулся.

— Отвечает? — услышал он негромкий вопрос и по голосу узнал соседа — Семена Петровича.

— Отвечает, — тоже заговорщическим тоном сказал Федор.

— Чего?

— Не печалься, ступай себе с богом, починят тебя так, что не хуже прежнего будешь.

— Главный хирург фронта приехал. Слышишь? Топай в палату.

Семен Петрович проводил его до койки. Федор едва успел отышаться, как в палату вошел огромный, в больших очках, с рукавами халата, закатанными выше локтя, главный хирург фронта. Позади него, как хвост кометы, двигались начальники отделений, ординаторы и еще какие-то люди, халаты на которых висели, словно форма на новобранцах. Главный хирург сверкнул очками и буркнул:

— Здравствуйте, товарищи...

В ответ прозвучало довольно нестройное:

— Здравия желаем!

Не привыкли солдаты приветствовать начальство лежа.

— Где он? — не оборачиваясь к сопровождавшим, спросил главный хирург.

— У окна слева.

Главный хирург подошел к Федору.

— Здравствуй, солдат.

— Здравствуйте...

Глаза за большими очками с толстыми стеклами выглядели очень крупными, навывкате. Страшноватыми...

Осматривая Федора, главный хирург хмыкал то довольно, то настороженно, у хирурга были толстые и очень проворные руки в веснушках, покрытые густыми рыжими волосами. На первый взгляд это были беспощадные, безжалостные руки, но хирург умел ими пользоваться так, что даже прославившейся на весь госпиталь своей «легкой рукой» сестре Маше было далеко до такой нежности и точности.

— Сколько воюешь? — обратился он к Федору.

— Три года.

— Сколько? — хирург чуть склонил голову, посчитав, что ослышался, смешно сморщил лицо в крупных морщинах.

- Три года,— повторил Федор.
- Подожди, подожди... Так сейчас тебе едва восемнадцать?
- Так точно. Семнадцать и девять с половиной месяцев.
- Как же ты успел?

Федору стало жарко.

— Партизанил. Потом в разведке, — заплетающимся от волнения языком проговорил Федор. «Вот попал! Этот уж наверняка прикажет и близко к фронту не подпускать».

— Родители погибли...— хирург не спросил, а кивнул.

— Мать — да... Отец пишет, чтоб я был хорошим солдатом. Вот письмо. Я правду говорю,— Федор влажными от волнения руками пытался нащупать под подушкой письмо отца, а оно, как нарочно, где-то затерялось, в каких-то складках.

Главный хирург фронта ждал, очень внимательно приглядывался к Федору. Прочитал записку.

— Что ж, коль по семейной традиции пошло...

— Так точно. Да и что я в тылу буду делать?

— Пожалуй, об этом-то и стоит прежде всего подумать.

— Почему?

— Ну, а если подумать?

Федор не сдержал улыбки. Уж больно точно получилась у генерала интонация этой любимой младшим лейтенантом фразы.

— Понял. Наши войска вступили сегодня на территорию Восточной Пруссии. А улыбнулся я... Вы очень похоже... Как младший лейтенант Русских, сказали. Он командовал группой захвата.

— Погиб...

— Не успел я. Не смог заставить немцев тащить его быстрее...

— Ну-ка, ну-ка...

Тогда Федор рассказал, как было дело.

— Что ж, солдат,— подумав, проговорил хирург,— в прятки с тобой играть не годится. Не из того ты десятка. Операция сложная, тяжелая и рискованная. Выйдет — тогда будет все в порядке. Нет — инвалид. Уговор, солдат! Ответ завтра.— Главный хирург поднялся, обратился ко всем в палате: — Вопросы есть?

Вопросов не было ни у кого.

Когда дверь за последним врачом из свиты закрылась, лежащий слева от входа обреченный раненый тихонько засмеялся:

— Чего далась тебе эта операция? Жить будешь. Хромой, но будешь. А тут такой риск...

Семен Петрович долго недоуменно молчал, потом повернулся к Федору.

— Как же мы очутились в Восточной Пруссии? Разве мы уже взяли Берлин?

Сосед страдал, как говорили врачи, ретроградной эмнезией — потерей памяти. Семен Петрович был младшим политруком в танковой роте. Во время боя снаряд ударил под башню, ее сорвало и откинуло. Семен Петрович чудом остался жить.

В палате, где лежал Федор, каждый раненый был таким чудом, а всего их было четверо.

— Давайте посмотрим,— очень серьезно и терпеливо сказал Федор. Он открыл тетрадь, лежавшую на тумбочке. Туда Семен

Петрович с помощью Федора вносил все, что вспоминал о себе и своей жизни. Он по крохотным кусочкам восстанавливал свою биографию. Утром он брал тетрадь и в течение часа вспоминал. Больше работать врачи ему не позволяли. Иногда Семен Петрович вспоминал весь какой-нибудь день, без связи с остальным, иногда математическую формулу, физический закон. Но никак не мог припомнить, что преподавал физику в школе.

— Мы шли на запад, а оказались на востоке. Не понимаю.

— Вот. — Федор открыл переведенную с помощью копирки карту Европы из энциклопедии. — Мы шли на запад. Но Пруссия — восточнее Берлина. По отношению к Берлину — она на востоке и называется Восточной.

— По отношению... Это хорошо. Это очень понятно. По отношению...

Федору очень хотелось, чтобы Семен Петрович спросил его об операции. Если сосед путался в своем прошлом, многого не помнил, то в настоящем он разбирался совсем неплохо. Однако Федор знал: не надо спрашивать у Семена Петровича совета. Он не ответил «да» или «нет»... А он, Федор, конечно, согласится на операцию. Ведь если раненый, лежащий слева от входа, теперь безнадежен, то потому лишь, что два месяца назад не пошел на риск. А четвертый в их палате? Он вторую неделю не приходит в сознание.

— Если A равно B , а B равно C , то A и C равны... — шептал сам себе Семен Петрович. — Равны... Понятно?

— Куда же тогда девать риск? Он не входит в расчеты... — тоже негромко проговорил Федор.

— Риск?

— Да. Он ведь не предусмотрен в равенстве: $AB = BC$. И неизвестно, будет ли AB больше BC , будет ли наоборот. Или они все-таки равны?

Семен Петрович, не задумываясь, машинально ответил:

— Это уже не формальная логика, а диалектиче... — и вдруг вскочил и огромными, испуганными почему-то глазами уставился на Федора. — Не формальная... Не формальная...

Федор увидел, как Семена Петровича бросило в дрожь. Он теребил одеяло, касался, словно во сне, головы, трогал ее, водил пальцами по лбу, точно соединяя нечто разрозненное, будто ощупью находил отдельное и собирал в целое.

— Вспомнил... Вспомнил... Вспомнил!.. Доктор!.. — Семен Петрович, как был в нижнем белье, выбежал в коридор.

* * *

Федор вскочил в землянку, руку к пилотке.

— Разрешите доложить!

Королев с погонями младшего лейтенанта сидел у стола облокотившись; крохотный Тихон Глыба, как обычно, лежал на нарах с толстой самокруткой — дымил; сержант — щеголь с тоненькой ниточкой черных усов над верхней губой — кто?; в дальнем углу видны на нарах огромные сапоги сорок шестого размера, не меньше; и еще — серенький такой солдатик с крас-

ным носиком уточкой. Это один из тех, которые без выправки особой, без особых примет, первыми встретили врага под Смоленском или под Ржевом. Потом они раз пятнадцать-двадцать участвовали в штурмах, да, бывало, таких, что от дивизий оставались батальоны. И вот до Германии дотопал и до Берлина, если в то направление попадет, — дойдет. Таких счастличиков Федор встречал. Вот хоть бы Глыба. А это Глыба-второй.

Но «трёйного» Ивана нет...

— Посмотрите-ка, никак это Федор! — поднимаясь с нар, воскликнул Глыба, но голос Королеза остановил его.

— Докладывай, — не поднимаясь, приказал Кузьма.

У Федора губы задрожали от обиды.

Доложил. По форме, по уставу, черт возьми!

— Иванова мы потеряли, Федор. Садись, — ответил на рапорт младший лейтенант Кузьма Королев.

— Когда его? — сглотнув, спросил Федор.

— Никогда. Просто потеряли. Понимаешь? Просто потеряли, — Королев хлопнул ладонью по столу. — Возвращались под обстрелом. Смотрю уже в траншее — нет Иванова. Он вот с этим гусаром шел. Где он? — взревел Королев, обернувшись к щеголю сержанту.

Тот вскочил. Желваки заходили у него, а усики зашевелились.

— Я докладывал, товарищ младший лейтенант...

— Слышал! Садись, Федор. Подлечили?

Федор поставил вещмешок на нары, подошел к столу.

— Полностью подлечили. Как новый.

— Как... как... Ладно, садись. Водки выпьешь? Приучился небось.

— Не то чтобы приучился, но выпью.

— Стемнеет — пойдешь! И чтоб был! Живой или мертвый! — рязкнул Королев, снова обернувшись к сержанту.

— Так точно, товарищ младший лейтенант... Стемнеет... чтоб был живой или мертвый. Разрешите идти?

— Ступай.

Сержант, сверкая приспущенными голенищами начищенных до сияния сапог, выпорхнул из землянки.

Облегченно вздохнув, Королев потрогал согнутым указательным пальцем пышные усы, поднялся, обнял Федора:

— Этот новенький — Свиридов — хороший парень. Только бабник. Погубит его эта штука. Разведчик-спортсмен. Ясно?

— Понятно, товарищ младший лейтенант.

— Полно, Федор. Дождались тебя награды — обе «Славы». Что не отвечал на письма?

— Честно?

— Честно!

— Боялся — не вернуться мне. А тогда... — Федор махнул рукой.

— Правы, значит, были Глыба с «тройным» Иваном. А я, признаться, хуже подумал, Федор. Подсаживайтесь, ребята.

Подойдя к нарам, Федор протянул руку Глыбе, заранее став очень твердо. Тихон обхватил руку Федора и тотчас очутился едва ли у него не на шее.

— Помнит! — захохотал, обнимая Федора, Глыба. — Помнит, как с Глыбой здороваться.

В блиндаже стало шумно, но разведчик в сапогах сорок шестого размера будто и не слышал ничего. Он спал в положении «смирно», лишь руки его с переплетенными пальцами покоились на груди.

Обернувшись к нему, Королев громко позвал:

— Егор!

— Ухм...

— Федор приехал!

— Оч... хорошо. — Носки огромных сапог сдвинулись, но это было лишь единственным движением.

Постаравшись соснуть, Федор сказал:

— Пожарником он был, что ли?

Разведчики рассмеялись громко, раскатисто.

— А ты откуда знаешь? — Из полутьмы, которая стояла в дальнем углу землянки, появилось широченное лицо с красноватыми спросонья глазами. Голова вопрошавшего была окружена венчиком светлых волос. Федору захотелось сказать, что в группе захвата теперь двое лысых, но, вспомнив о первом — «тройном» Иване, он промолчал.

— Он пожарником по совместительству служил, а спит — так по фамилии. В аккурат, — съехидничал Глыба. — Не разбуди Косолапова — сутки проспит.

— Поесть я не забываю, Тихон. Это ты напрасно... — И Косолапов легким движением поднял свое непомерное тело, быстро нахлобучил на босую голову пилотку, подсел к столу.

— Поиск был удачным?

Королев помотал головой:

— Плохой из меня командир захватгруппы. Сначала все вроде шло. А вот ворвались в эту проклятую Пруссию — и ни с места. Бои местного значения. Это в его, в фашистском, логове! Берем одного языка — и ни бум-бум. Новенький. Необстрелянный. Сам ничего не знает. Хуже нас оборону свою понимает. Второго — то же самое. Пробовали, как ты тогда, за что тебе вторую «Славу» дали, — налет в траншею — и порядок. Не тут-то было! Они, из первой траншеи, если по нужде — и то рядом. Начальство жмет — давай, я жму — давай. а...

Глыба попробовал было вставить словцо, но маленький счастливчик солдат ткнул его в бок.

— Вот и ору... А чего орать?.. Пойду Свиридова позову. Страдает ведь человек. Неудачник он, — поднимаясь, приговаривал Кузьма. — С его наградами ему бы чин капитана надо иметь, а он сержант. Так вот за свои похождения взад-назад и ездит. Давайте наливайте. Я мигом.

Королев вышел.

Косолапов сказал Федору, как хорошему знакомому:

— Фрицы теперь у себя дома. Подготовились. А наш брат — известное дело — разведчик. И вот ключики ищем. Попробовали с налету — солдат не фартит. Не фартит!

Маленький солдат, Николаев его была фамилия, быстро и

бесшумно прибрал и разложил что надо на столе. И все осторожно, даже как-то без маеты, колготни, славно, раз — и готово.

Сверху, с улицы, послышался голос Королева:

— До полной темноты не выпущу! Со мной пойдешь. Насвоевольничает — знаешь, у меня не заржавеет.

«Действительно, трудно как-то Королев командует, — подумал Федор. — Вот у Русских, у того все получалось само собой. Команда — когда надо, и разговор — когда надо. А у Королева только команда. Но и он хороший командир».

— До полной темноты — полтора часа. Марш в землянку! Приказываю!

Когда они спустились, их уже ждали накрытый стол и полные кружки. Разведчики только утром вернулись из поиска, и им был положен отдых. И ничто, казалось, не могло его нарушить. Часа через полтора группа собиралась выйти на поиски тела Иванова, так как было решено, что Иванов убит и лежит в воронке, около которой его в последний раз видел сержант.

Федор уже ждал фразы Королева: «Готовы? Пошли...», когда наверху послышались голоса и, топоча сапогами по ступенькам и громко пыхтя, двое пехотинцев сволокли в землянку связанного немца, а за ним шел старший сержант Иван Иванович Иванов. Живой и вроде здоровый, только вываленный в глине.

Появление двух солдат с пленным фрицем, а затем и Иванова было настолько из ряда вон, что никто сначала не двинулся с места.

— Отсекли меня, гады, товарищ младший лейтенант, — докладывал Иванов. — Высунуться невозможно. Вскочил, когда отходили утром, на взгорочек, да в воронку. А высунуться, понял, невозможно. Чего ж задаром пропадать? Лежал тихо. Что было делать? Они, гады, заприметили, видно, воронку ту. Вот и пожаловал ко мне гость в сумерках. То ли моими карманами интересовался, сволоочь, то ли хотел «железный крест» хапануть за дарового языка, если я ранен. А может, и на то и на другое рассчитывал, сукин сын. Только он мне до зарезу нужен. По расхлябанной обутке судя, давно здесь ошивается. Обутку эту я потом разглядел. Ну, а когда до своих дотащил — попросил ребят помочь. Уж больно умаялся. Еще не стемнело толком, а туманчик поднянуло. Я и решил не ждать полной темноты, чего вам лишку волноваться? Все, товарищ младший лейтенант.

— Вот чертушка ты, «тройной» Иван! — воскликнул совсем не по-уставному Королев.

Пехотинцев благодарили за помощь, угостили, и они ушли. Тогда «тройной» Иван повинился:

— Вы, товарищ младший лейтенант, не сердитесь, что я сюдз, в землянку, фрица приволок. Как же, не доложив своему командиру, дальше попрусь? Одному мне не дотащить, а он идти ни в какую не желает.

— Ты его не очень? — поинтересовался Королев.

— По-моему, счень даже легонько... — заволновался и сам Иванов, потому что пленный лежал без движения, с закрытыми глазами.

К нему наклонился щеголь сержант.

— Придуривается. Вон веки дрожат.

Королев приказал развязать пленному ноги. Свиридов полоснул ножом по веревке, а потом прислонил рукоятку ножа к виску пленного, как приставляют пистолет. Пленный взвыл и откатился в сторону.

— Вот и все, товарищ младший лейтенант! — отпортовал сержант.

— Веревку-то чего приспичило резать, — обиделся Иванов. — Она у меня была счастливая.

Тогда щеголь сержант с удивительной Федору душевностью проговорил:

— Прости, Иван! Поторопился сдуру.

С этой минуты Федор словно перестал замечать, что сержант — картинка, а усы у него щегольской ниточкой.

— Ладно, — сказал Иванов. — Перебыюсь как-нибудь.

— В штаб! Поднимай своего крестника — и в штаб. Пехота, поди, уже сообщила, что ты не один появился. «Язык» нужен. А начальство ждать не любит, — сказал Королев. — Со мной Иванов и ты.

— Слушаюсь! — Свиридов лихо щелкнул каблуками.

Когда Королев, Иванов, Свиридов и пленный ушли, оставшиеся принялись расспрашивать Федора о госпитальном житье-бытье. Но наговориться толком они не успели. Королев позвонил по телефону и приказал готовиться к выходу в тыл врага.

* * *

Жалкая кучка сморщенных прошлогодних ягод клюквы лежала на Федоровой ладони. Он раздумывал — проглотить их, или от ягод еще больше захочется есть. Лежавший рядом огромный Косолапов беспокойно крутился и трубно вздыхал. Так по крайней мере казалось Федору, что сосед слишком шумливо поворачивается с боку на бок и чересчур мается от голода. «Тройной» Иван, тот куда более сдержан.

Он сокрушено изучал изодранный в десятидневных скитаниях маскхалат, брюки, гимнастерку, сквозь которые просвечивает белье. Оно тоже измазано болотной глиной, пылью.

«И то хорошо, — неожиданно подумал Федор, — хоть не демаскирует, не светится белым». Однако мысли ворочались вяловато. Разведчики проползли на брюхе добрую сотню километров, и после такой работы им бы гречневой каши со свиной тушенкой. От одной мысли о еде липкая горечь обволокла рот, и Федор, уже не раздумывая далее, кинул в рот горстку почти черных сморщенных клюквин. Ягоды оказались пресными, вымороженными.

У Королева запали щеки и ушли под надбровья глаза, а так и не догадаешься, будто он вчера утром сам разделил последний сухарь на семерых.

Свиридов, Николаев и Глыба находятся метрах в пятидесяти, на пригорке, поросшем частым ельником. Оттуда хорошо просматривается дорога.

Впрочем, голод, изодранная одежда — все это чепуха. Вот если им придется вернуться с пустыми руками... Лучше и не возвращаться вовсе. Хотя не с такими уж пустыми руками они вернутся. Десять дней они наблюдали оборону противника, де-

сять дней сообщали по радио в штаб о расположениях дотов, минных полей, танковых ловушек, минометных и артбатарей, о движении танков, пехоты противника. Но все это тоже выглядит чепухой по сравнению с тем, что им было поручено сделать.

Схваченный Ивановым унтер в расхлябанных сапогах действительно оказался не новичком в укрепленном районе, прикрывающем подступы к центру фашистского логова. Он рассказал много важного и интересного. Но главным в его показаниях была такая деталь: со времени подхода наших войск к укрепрайону появился в нем полковник, про которого говорили, что он-то и создавал всю систему оборонительных сооружений и считал ее неприступной.

Крестник «тройного» Ивана оказался человеком знающим и смысленным в том смысле, что его не понадобилось долго убеждать в необходимости дать исчерпывающие сведения. Унтер сообщил о какой-то новой, хитрой, мало знакомой ему самому системе сигнализации. Однажды один из их опытейших саперов пошел по известному ему проходу, но то ли задел нечто, то ли там была другая система оповещения, только его засекали. Такая система сегодня еще не была установлена, но завтра ее могли смонтировать. Для этого, очевидно, и прибыл в их подразделение тот самый таинственный полковник.

Командование и начальника разведки не смутило появление какой-то новой системы оповещения, а вот столь близкое «соседство» полковника заставило поторопиться основательно. Когда и где мог он вынырнуть вновь — неизвестно, а унтер даже указал место стоянки бронетранспортера, на котором ездил полковник. Это и решило вопрос о спешной переброске группы в тыл.

В ту же ночь разведчики прошмыгнули в фашистские тылы. Бронетранспортер находился у штаба полка, но подобраться к нему не было никакой возможности. Целое утро разведчики изучали в бинокль самую машину, чтоб не спутать с другой, однотипной. Днем и особенно ночью по прифронтовым дорогам двигалось много солдат и техники. Но напасть вот так, за здорово живешь, на бронетранспортер и думать не приходилось. Тем более что полковник, видимо, знал себе цену или просто не желал рисковать и в одиночку не ездил.

Разведчики делали свое дело — наблюдали и докладывали ежедневно по радио о скоплениях пехоты, танков, об обнаруженных дотах, дзотах и блиндажах, но на вопросы «Березы»: «Где «черепаха»?» — кодовое название бронетранспортера и «Как с «улиткой»?» — условное прозвище полковника — Королев отвечал, что «черепаха» бегаёт, а «улитка» не показывается.

В ответ получил приказ:

— Ускорьте операцию.

Пышные усы Королева за десятидневные скитания так отросли, что совсем прикрыли губы, и никто не разглядел горькую улыбку.

— Последний приказ — ускорить операцию... — проговорил он молчаливым товарищам.

Ферор незольно вздохнул. Не докладывать же по радио, что они почти разгадали систему, по которой этот проклятый пол-



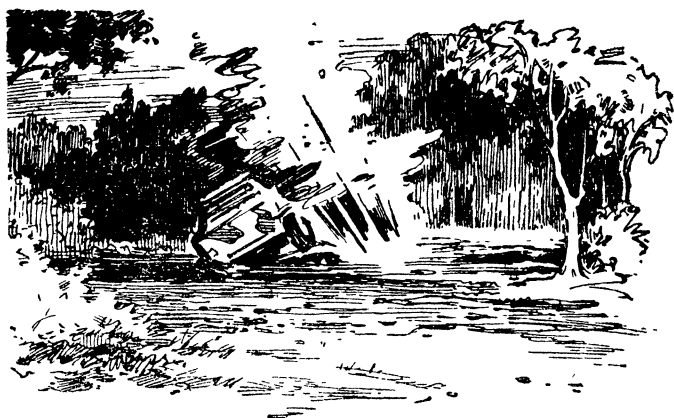
ковник объезжает укрепрайон. Бронетранспортер ежедневно все ближе подходит к подразделениям левого фланга. Непрístupно-го уже потому, что там болото — километра три открытого пространства, поросшего буйной осокой и топкого. Королев послал туда Федора и Глыбу.

И вот коли они правы, то завтра полковник должен проехать по дороге в великолепном лесу, за болотом. Там и решил Королев накрыть бронетранспортер.

Хотя завтрака не предвиделось, так же, впрочем, как и обеда и ужина, однако по какой-то неведомой причине разведчики посидели некоторое время с таким видом, будто они не то ели, не то отдыхали после еды. Федору, который в госпитале привык к режиму, было особенно тяжело: кружилась голова, болел желудок и любое воспоминание о еде превращалось в пытку.

По знаку Королева разведчики поднялись и поползли за командиром. Настало время, когда обычно на дороге появлялся бронетранспортер с полковником, который переправлялся из одного подразделения в другое. Королев взял за правило, чтобы за переездами бронетранспортера наблюдали все. Внешне эта машина ничем не отличалась от других. Но в манере вождения бронетранспортера разведчики заметили одну особенность. Водитель держал всегда одну скорость — тридцать километров в час. Он не сбавлял хода ни на поворотах, ни на спусках, двигался размеренно, а встречные машины жались к обочине.

Сегодня разведчики подобрались совсем близко к дороге. Трассы охранялись усиленными нарядами пехотинцев и мотоциклистами. Дорога в великолепном лесу за болотами, ведущая на левый фланг, патрулировалась только мотоциклистами. Это вполне устраивало разведчиков. Если бы речь шла только об уничтожении бронетранспортера, группа Королева давно бы выполнила задание, хотя бы и ценою собственной жизни. Но



командованию был нужен сам полковник или по крайней мере документы, которые находились у него.

В ту ночь, когда группа уходила в фашистский тыл, задание объяснял сам начальник полковой разведки. И прощальные слова майора Терехина были наполнены особым смыслом:

— От успеха вашей операции зависит развитие наступления. Значит, жизнь сотен, а может быть, и тысяч ваших товарищей.

Федор подполз к Свиридову, удобно расположившемуся в зарослях низких елочек, окинул взглядом дорогу.

— Один! Один бронетранспортер! Без сопровождения. Посмотрите, товарищ младший лейтенант.

Федор поверил в это не сразу, даже когда увидел вдали темного жучка на серой полоске асфальта. Он все ждал, что через секунду-другую из-за поворота, из-за лесочка выедет на дорогу либо грузовик с солдатами, либо еще какая-нибудь вторая машина. Но темный жучок по-прежнему полз по асфальтовой ленточке в одиночку. Он двигался, как всегда, размеренно, упрямо, словно в нем сидел автомат, а не человек.

Королев не отрывал взгляда от бинокля. Бронетранспортер приближался к развилке. Разведчики замерли. Федор чуть подался вперед и шептал:

— Сверни! Сверни! Поворачивай, гад!

И бронетранспортер свернул, свернул туда, куда должен был свернуть, поехал в сторону левого фланга, к великолепному лесу.

— Бегом! — выдохнул команду Королев.

На секунду раньше приказа Федор вскочил и бросился к дороге. Он оказался впереди всех. И тут, скатившись с пологого холма, он влетел в великолепный лес и обрадовался его чистоте и простору. Он помчался со всех ног напрямик к дороге. Подсумок с двумя противотанковыми гранатами мешал ему.

Федор взял гранаты в руки. Бежать стало легче. Покосившись, он увидел догнавшего его Свиридова.

Они пробежали полпути, когда Федору показалось, что он слышит шум работающего мотора.

Боль в спине не давала ускорять бег — заныла старая рана. Свиридов вырвался вперед. Он бежал так, как бегают спортсмены, а гранаты у него в руках выглядели точно эстафетные палочки.

— Не могу!.. — крикнул ему вдогонку Федор.

Шум мотора слышался все явственнее.

Бежать до дороги еще метров триста. Федор поглядел влево, в ту сторону, откуда ждали бронетранспортер. И там ясно виднелась меж стволов полоса дороги. И тем, кто находился в машине, не составляло никакого труда заметить в просвеченном солнцем лесу людей, которые мчались к ним с необыкновенной скоростью. Разведчики подбежали к обочине, спрятались за деревьями, а машина с полковником все еще не появилась.

— Не лезть под пулеметы! — приказал Королев. — Рассредоточиться. Дистанция — двадцать-тридцать метров. Первым бросает гранату левофланговый Свиридов. Занять места.

Федор остался около Свиридова. Все залегли у крайних к дороге деревьев, спрятавшись за комлями, около которых поднималась густая, но уже пожухлая трава.

И вот, словно специально дождавшись, пока разведчики займут удобную и выгодную позицию, из-за поворота появился бронетранспортер. Он был тупорыл, в камуфляжных разводах. Через открытый броневой щиток виднелось лицо шофера. Он то и дело отворачивался, очевидно отвечая на вопросы своего пассажира. Вот он чему-то засмеялся, откинув голову, показав оба ряда отличных белых зубов.

Тень от бронетранспортера скользила по краю кювета сбоку и чуть сзади, и Федор подумал, что Свиридов бросит гранату именно тогда, когда тень машины окажется против дерева, за которым тот спрятался. И не ошибся. Быстрая фигура сержанта взметнулась рядом с деревом, едза передние колеса бронетранспортера поравнялись с комлем. Взмахнув рукой, Свиридов сделал два прыжка вслед машине и швырнул гранату. Сам скатился в кювет, втянув голову в плечи. Федор спрятался за дерево секундой позже. Граната, брошенная сержантом, угодила под брюхо машины.

Взрыв прозвучал отчетливо, резко. Разведчики подскочили к машине, завалившейся в кювет. Брюхо бронетранспортера разворотило взрывом. Федор подоспел первым. Прыгнул в кузов.

Пахло взрывчаткой. Федор чихнул. Протер глаза. Четверо фашистов были убиты. Федор отодвинул изуродованный труп полковника в сторону и обыскал его. Взял все бумаги, сунул в подшумок от гранат.

— Машина! — послышался крик Глыбы.

— В лес! Быстро! — скомандовал Королев.

Федор замер на миг, услышал шум мотора, кинулся к лесу. Он был у дзеза, нагнулся за гранатами, когда пули, взвизгнув, с треском расщепили кору дерева над его головой. Федор снова залег у комля и дал очередь по машине, очевидно выехавшей встречать бронетранспортер. Но сидевшие в ней солдаты

повыскакивали уже на противоположную сторону дороги и за-
легли в кювете.

Это было ошибкой фашистского офицера. Разведчикам пришлось бы куда хуже, если бы преследователи оказались на одной стороне с ними: прячась за деревьями, фашисты без труда окружили бы группу. Теперь им предстояло пересечь дорогу под огнем разведчиков.

Гитлеровцы палили отчаянно, но, как при всякой отчаянной пальбе, огонь их не отличался прицельностью. Пули визжали, били по стволам, будто кувалды.

Когда разведчики спрятались за ствол какого-то дерева, Королев приказал, протянув Федору еще пачку бумаг:

— Спрячь к тем. Приказываю добраться живым.

Федор приложил руку к груди. Он не ожидал такого поворота. Он не хотел оставлять товарищей в бою. Возможно, всем удастся оторваться. Федор открыл было рот, но Королев, свирепо взглянув на него, поднес пистолет к носу Федора.

— Во что бы то ни стало добраться живым. Передать документы. — Королев опустил пистолет, убедившись, что Федор понял его правильно. — Через минные поля поведет Николаев. Ты, Федор, за ним. Все. Мотайтесь! Быстрее! Ужом ползите! — Королев кинулся обратно к дороге.

Николаев толкнул Федора в бок, и они двинулись.

Ползли долго. Добравшись до кустов, прикрываясь ими, побежали. Позади, отдаляясь, рокотали автоматные очереди, глухо рвались гранаты и опять стучали автоматы.

Потом все смолкло.

Федор остановился, затаил дыхание. Он лишь слышал, как с каждым мгновением все сильнее и громче начало биться сердце. Ослабили ноги, он сел на землю.

Наступила тишина. Листья и ветви, трава и стволы странно расплылись, точно он глядел на них сквозь тонкую пленку воды, играющей, переливающейся круглыми лучистыми бликами.

Порыв ветра налег на вершины. Они отозвались низким клекочущим гудом. Смолкли.

Николаев тронул Федора за плечо. Федор поднял глаза и почувствовал: по щекам медленно, щекоча, потекли слезы. Он прикрыл ладонями лицо, но тотчас понял — отними он ладони от лица — ему не сдержать рыданий. А этого нельзя было делать ради и во имя памяти тех, кто навсегда остался у дороги, от которой сейчас доносилась лишь тишина. Можно чуть-чуть посидеть вот так, закрыв лицо руками, чтобы даже солнце на вражеской земле не заметило его слез, его мальчишеской слабости.

— Пойдем, Николаев.

Двинулись они не тотчас же, немного постояли, прислушались. Может, застучит со стороны дороги автомат. Наш автомат с глуховатым звуком выстрела. Но слух улавливал обычные и привычные шумы леса. Тогда Федор решил, что, вероятно, фашистский офицер послал часть солдат в обход. Это и решило исход схватки. Но как быстро догадался Королев воспользоваться оплошностью гитлеровца! Отсылать их с документами чуть позже было бы ни к чему. Федора и Николаева могли перехватить, но и теперь еще нельзя чувствовать себя в безопасности.

Они быстро шли к востоку.

Вечером, сверившись по карте, установили, что до линии фронта им осталось сорок семь километров, а сегодня отмахали двадцать. Опасаясь преследования, решили двигаться и ночью. Надо было выбирать новым путем: через боевые порядки немецкого левого фланга. Разобравшись в карте полковника, установили, что на окраине болота есть тропа, которую сами немцы предполагали использовать для заброски разведчиков в наш тыл. Кое-где ее минировали, но места эти были аккуратно помечены, а в сносках, в приложении к карте, точно указан даже тип мин.

— Так и сделаем, — сказал Федор. — За ночь доберемся почти до тропы, утром приглядимся и двинем.

— Пожалуй.

В наступивших сумерках лес показался очень темным, хоть глаз коли, но вскоре взошла полная луна.

Сначала меж деревьями будто запылал багровый ночной пожар, и Федор подумал, что так оно и есть.

Луна быстро поднималась, цвет ее холодел, бледнел, а когда она стала вровень с вершинами, уменьшаясь в размерах, и покатила вправо и выше, то превратилась в совсем маленькую, не больше пятиалтынного, очень яркую монету. Свет ее лег на ветви и посеребрил их.

Пронизанный лучами лес представлялся бесконечным и спокойным, будто нигде на земле не слышалось ничего, кроме его сонного дыхания под ветровыми накатами, будто не вчера утром на одной из дорог, проходящих через этот лес, погибли, прикрывая отход Федора и Николаева, пятеро разведчиков. Проходя ночью меж деревьями, Федор неожиданно для себя отметил, что в лесу растут дубы, много лип, кое-где темными пятнами выделяется ельник, а ближе к болоту поднимаются залитые светом березы.

Глядя на ухоженный, чистый, великолепный лес, сказочный под серебряным лунным светом, он думал о каком-то диком, противосестественном противоречии, когда люди — вот немцы, — понимающие и любящие красоту природы, вкладывающие в улучшение этой красоты бездну труда, в то же время готовы истребить ее... Как они ослепленно поверили, будто уничтожение красоты земли в других странах пройдет для них безнаказанно. И вот теперь их край рвут и кромсают снаряды и бомбы, и, наверное, от этого леса останутся лишь щепки. Это та железная необходимость войны, когда человеческое чувство любви словно становится ниже этой временной, но страшной неизбежности уничтожения ради жизни и мира, ради той же любви, потому что иначе не останется на планете разумного и прекрасного.

Мысли эти ощущались Федором как необычные. Он был далек от прошлой жизни, подобной той, какая была у Королева, с его пчелами, у Семена Петровича, влюбленного в золотых рыбок. И существовали у других людей еще более глубокие интересы, о которых Федор только догадывался. Королев до войны был пасечником. А кем был «тройной» Иван? Русских? Глыба? Они говорили об этом, но Федор не считал это достойным внимания. У него-то ничего подобного не было, не было того, что называ-

ют прошлым. Он из детства словно провалился в войну. Страшные первые впечатления от нее не разделили его жизнь надвое, как было у многих, а просто его жизнь началась именно с войны, будто прежде ничего и не существовало, кроме отрывочных воспоминаний.

Думы эти натолкнули Федора на не осознанную еще им до конца идею, что без прошлого нет будущего. И что у него не существовало своего будущего до той поры, пока он не увидел по-настоящему лес и не полюбил его. Раньше он никогда бы не задумался о судьбе леса, а теперь она волновала его. И этот лес стал для Федора не просто скопищем деревьев, мало пригодным для ведения боя или разведки. Нет. Лес воспринимался им как нечто большее — как красота земли, которая, подобно любой красоте, не могла оставаться равнодушной к делам людей, не могла быть и служить только одному человеку или одному народу. В таком случае она вступала в противоречие со всем остальным прекрасным на планете.

Федор удивился огромности восприятия им величия леса, необыкновенности своих мыслей и в то же время досадной смутности собственного понимания того, что он осмысливал.

И уж совсем неожиданно вспомнил, что дорога, у которой погибли товарищи, шла по дубняку и, когда они отползали, ему под руки то и дело попадали желуди.

«Их можно было бы сейчас съесть», — подумал Федор. Проходя по дубняку, он стал приглядываться и нашел несколько прошлогодних желудей, но они оказались гнилыми.

Рассвет застал их на краю болота, неподалеку от того места, где должна начаться тропинка. По окраине топи густо разросся ивняк. Дальше туман густел и купины кустов расплывались в нем.

Тропа уходила в болото где-то в кустах. Теперь предстояло решить окончательно, как им поступать: либо идти через топь точно так и довериться полностью немецкой карте, либо подождать, когда совсем рассветет, разобраться в обстановке и лишь тогда отправляться в трудный и опасный путь по болоту.

Нужно было с осторожностью и ясностью оценить обстановку.

— Николаев! — тихо позвал Федор.

— Слушаю, товарищ сержант.

— Садись-ка. Ты веришь карте?

— Полковничьей?

Значит, Николаев думал так же. Оставалось проверить дальнейший ход мыслей товарища.

— Если вот, к примеру, о долговременных сооружениях речь — то верю. Инженерные всякие хитрости и ловушки, система огня, расположение дотов, дзотов, блиндажей, траншей — это верно так, что можно и не проверять. А по мелочи... Вроде тропы. Тут почешешь в затылке.

— Вот и я думаю, что почесать следует, — охотно отозвался Федор. Здорово, если двое в разведке думают одинаково. Значит, так оно и есть. — Не верится мне, будто эта тропа, оставленная для вражеских разведчиков, была минирована. Тут что-то не так. Быть не может, чтобы они каждый раз, проходя, снимали мины, а потом обратно ставили. Риск большой.

— Ночью, да в тумане и опытный проводник-сапер запросто ошибется. По-моему, товарищ сержант, дело тут не так обстоит. — А как же? — спросил Федор, заранее предположив, что фашисты некоторое время назад сняли мины. Им тоже необходимы сведения о наших боевых порядках.

— Сняли теперь фрицы мины. Проходы раньше были заминированы.

— Ну... — поторопил Федор Николаева.

— А теперь там посты. Может, один-два пулемета.

— И я так думаю, — с облегчением сказал Федор.

— Однако, товарищ сержант, тут полегче, пожалуй, пройти, чем старой дорогой.



— Может быть, может быть... А коли фрицы догадались о пропаже карты, о том, что кто-то ее утащил? Что они подумают? — размышлял Федор.

Николаев долго молчал. В сером рассвете его маленькое, как-то совсем непримечательное личико показалось Федору давным-давно знакомым, только он никак не мог припомнить, откуда пришло это навязчивое воспоминание.

— На ихнем месте, — неторопливо выговорил Николаев, — я понадеялся бы, что кто-то поверит в минирование единственной тропы, пригодной для выхода разведки... Коль верить карте — то во всем. А, буде не поверят, то две засады с пулеметами воспретят продвижение хоть батальона. Место-то открытое!

— То-то и оно... — подтвердил Федор. — Поэтому надо выйти на тропу теперь...

Они внимательно осмотрели квадрат полковничьей карты. Еще

раз проверили ориентиры, по которым можно было выйти на тропу. Условные обозначения оказались приблизительными, но створ тропы отмечен березой и двумя елями.

— Больше ничего не выудишь,— вздохнул Федор.— Я немецкий в школе за обузу считал. А теперь вертись...

— Авось выберемся...— философски заметил Николаев.— Вон береза.

Глянув на своего товарища, которого при первой же встрече он отнес к типу счастливицкв, Федор вспомнил, что Николаев похож на лесовичка. О таких ему рассказывали сказки в детстве, воспоминания о котором казались давно-давно сглаженными.

Они прошли к кустам, часто останавливаясь и подолгу прислушиваясь. Кругом стояла тягучая влажная тишина. Изредка из-под ног вспрыгивали лягушки и тяжело шлепали по грязи. Выйдя к березе, разведчики различили в тумане две ели, меж которыми пролегала тропа. Верхушки елей поднимались из белесой пелены.

— Товарищ сержант! — позвал Николаев.— Вы помните, младший лейтенант сказал, если есть минная опасность, то мне идти первому...

— Иди,— сказал Федор.

От березы, испускавшей запах тлена, они двинулись прямо



меж елей и нашли тропу. Она была довольно четко протоптана. Федор теперь полностью утвердился в своем предположении, что дорога через топь разминирована и охраняется.

Николаев шел не спеша, ступал бесшумно, хотя его сапоги почти по щиколотку проваливались в мох и болотную жижу.

Они прошли по болоту с километр, как вдруг Николаев поднял руку. Они вместе сошли с тропы, залегли в траве за кустом. Тотчас и Федор услышал громкое хлюпанье сапог в грязи. Оно показалось Федору необычно громким: кто-то шел не хоронясь... По звуку определил — двигаются трое. На всякий случай Федор приготовил нож, в левую руку взял пистолет. Покосившись на Николаева, увидел, что тот держит, как обычно, писто-

лет в правой руке. Он принял у Николаева нож, взял его в зубы и сделал товарищу знак: «Следи за мной!» Николаев ответил, мол, понял и ткнул себя пальцем в грудь, напоминая как бы Федору, что с такими документами, какие у них, рисковать нельзя. Федор кивком ответил: «Знаю».

Хлюпанье становилось все громче, слышалось сопенье продвигающихся по грязи людей. Разведчики еще плотнее прижались к колючей болотной траве. Сквозь клубы медленно плывущего тумана проступали очертания трех фигур. Все трое без автоматов...

«Очень хорошо... Похоже, что это разведчики... Они идут, ничего не опасаясь. Пистолеты у них либо в кобурах, либо за пазухой...»

Двое в маскхалатах, какие носили немецкие разведчики. Третий, шедший посредине, — в нашей шинели. Руки у него связаны за спиной, во рту кляп.

«Стибрили, сволочи, какого-то раззяву! Ничего себе — встреча! Ничего... Значит, их двое. Нападения они не ожидают. Это-то видел посты или что там у них. Но мы-то не знаем. А знать надо. Если рисковать, то лучше сейчас... Выгоднее, чем позже, когда нарвемся на засаду или на заставу на болоте. Этот раззява все видел, если только от страха был способен соображать... Но все-таки нас будет трое... Пора... Если рисковать... Пора!...»

Федор и Николаев переглянулись.

Гитлеровские разведчики с «языком» прошли по тропе совсем рядом.

Федор привстал на колени и резкими взмахами один за другим метнул оба ножа в гитлеровцев. Шедшему впереди финка угодила в шею, чуть пониже затылка, второму — под левую лопатку. Когда Федор и Николаев подскочили к упавшим фашистам, пленный — наш молодой солдат — от неожиданности даже осел на тропу. Федор погрозил ему, чтоб не очень шумно радовался.

Гитлеровец, шедший замыкающим, еще хрипел, и Федор прикончил его. Затем они забрали у него оружие, документы, сняли маскхалат, оттащили в сторону и опустили в темную воду бочага. Действовали Федор и Николаев быстро, без суеты и слаженно. Так же поступили и со вторым фашистом. Молодой солдат, которого немцы взяли в плен, глядел на дела разведчиков удивленно, видимо не совсем понимая, что же происходит. Вид у Федора и Николаева, заросших, грязных, ободранных, был страшный. Потом Федор затоптал пятна крови на траве и земле, стараясь не устраивать на тропе большого беспорядка. Убедившись, что следов нападения почти не видно, Федор кивнул молодому солдату: иди, мол, за нами. И они снова, чутко прислушиваясь и останавливаясь при малейшем подозрительном звуке, прошли метров пятьдесят и опять свернули с тропы, спрятавшись за кустами. Федор освободил парню руки, вытащил изо рта кляп:

— Тихо! Шепотом отвечай!

Парень кивнул, потер запястья и скулы!

— Они меня...

— Потом, потом. Посты на тропе есть? Проводили тебя мимо постов?

— Да.

— Где они?

— Н-не помню...

— Сколько?

— Кажется, два...— не очень уверенно ответил парень.

— Послушай, — строго сказал Федор, — минуту даю на воспоминания. Раззява!

— Я...— начал было молодой солдат.

Федор посмотрел на него презрительно.

— Кхм...— несколько сочувственно кашлянул Николаев. Он, очевидно, хотел что-то сказать в защиту необстрелянного, растерявшегося солдата, но не решился, помня о субординации и дисциплине.

— Меня...— опять принялся объяснять парень.

Николаев положил руку на плечо Федора.

— Пусть уж от печки начинается. Не может иначе, видно.

— Ладно...— Федор махнул рукой.

Молодой солдат обстоятельно объяснил: находились они в боевом охранении. Сзади послышался шорох. Напарник схватился было за автомат, да поздно. Убили ножом, а его скрутили. Вели по лесу, вышли на болото и метрах в ста от закраины немцев, которые его схватили, окликнули. Те что-то ответили. Откуда окликнули, сколько там народу — не видел: туман. И второй раз окликали, неподалеку отсюда. Из кустов.

— Пойдешь первым. Мы за тобой. Приметишь кусты, в которых охрана, поднимешь руку, — приказал Федор. — А мы с тобой, Николаев, должны будем по-тихому снять заставу. Надевай-те фрицевские маскбалахоны. Я рискну пройти в своем, благо грязи на нем достаточно.

Почти совсем рассвело. Туман уже оторвался от земли и с каждой минутой всплывал все выше над болотом.

— Быстрее, быстрее, — торопил Федор.

— А что делать, когда окликнут? — спросил парень. — Не помню я отзыва, который говорили фрицы.

— Иди к ним без отзыва. Вот тебе нож.

— Боязно, пистолет бы...

— Ишь ты! Пистолет... Надо без стрельбы.

— Ножом... я кидать не умею.

— Близо подойдешь. Мы со стороны зайдем. Не трусь, раззява. На тебе же немецкий балахон, ты идешь из тыла. Не станут они сразу стрелять. Пошел, пошел!.. Если не окликнут — молчи. Ясно?

— Понял...

— Раззява! — проговорил Федор не совсем уверенно. Лишь теперь, когда стало светло, было видно, что лицо парня крепко избито.

Наконец они двинулись.

Он принялся про себя считать шаги. Это отвлекало от мрачных мыслей. На пятьсот восемьдесят седьмом шаге из-за плеча Николаева Федор увидел: шедший впереди молодой солдат поднял руку, даже помахал ею, словно приветствуя кого-то.

Потом он увидел сбоку, шагах в пятнадцати от тропы, фигуру немецкого солдата. Тот тоже помахал рукой парню, который шел впереди, а заметив их, помахал и им. Федор с трудом заставил себя поднять словно одеревеневшую руку и ответил на молчаливое приветствие немца из болотной заставы.

И снова стал считать шаги, затылком чувствуя взгляд немца. Но тот ничего не спрашивал. Он просто стоял и смотрел, привыкнув, видимо, к тому, что из тыла в сторону русской обороны часто уходят молчаливые разведчики.

Взошло солнце, а ветерок согнал туман. Далеко впереди засинел лес.

— Догоним парня,— сказал Федор в спину Николаеву.

Тот, не оборачиваясь, прибавил шагу.

Когда они подошли к молодому солдату совсем близко, Федор проговорил довольно громко:

— А говорил, «боюсь»... Слышишь, солдат?

— Я все не верю, что прошли,— через плечо ответил парень и шмыгнул носом.

— Не прошли еще... Но пройдем. Скоро вторая застава?

— У выхода из болота. Вон там, у леса,— весело сказал молодой солдат.

Николаев спросил:

— Как тебя зовут?

— Иваном. Пестриков Иван,— и он обернулся, показав свое избитое лицо.

— Вот что, Иван Пестриков,— приказал Федор,— иди вторым.

— Пусть уж третьим, товарищ сержант,— попросил Николаев и добавил: — Я не о тебе забочусь, Федор.

Впереди, километрах в пяти, находится немецкий пост, охраняющий тропу. Никто с полной уверенностью не знал, есть ли там радиостанция, оповещены ли фашисты на посту о том, что идущие по тропе — русские. Ведь трупы немецких разведчиков могли быть уже найдены. Ну, а если даже не найдены? Что стоит наблюдателю при их приближении посмотреть в бинокль? Если не сразу, то через некоторое время немецкий наблюдатель заметит избитое лицо Пестрикова или маскировочный халат Федора. И это может быть намного раньше, чем они подойдут на гранатный бросок.

Пестриков оказывался третьим лишним.

Однако Федор чувствовал, что не сможет приказать этому парню остаться здесь, пока они дойдут до заставы на краю болота и уничтожат ее гранатами. Кроме того, что будет делать он один, беззащитный, в тылу у немцев? Он не сможет остаться один, хоть убей его. А идти вместе — значит увеличить риск быть узнанными заранее. Пестрикову нельзя приказать отстать, запрятать под балахон свое лицо — это вызовет у дежурных заставы если не подозрение, то любопытство.

Они должны пройти это болото и доставить во что бы то ни стало документы в штаб.

А Пестриков шел позади и болтал разную чепуху. Он болтал до той поры, пока Николаев не заметил на окраине болота фигуру часового и стоящий на турели пулемет.

— Заткнись, Ваня! — попросил Николаев сквозь сжатые зубы. Несколько шагов они прошли молча. Потом Пестриков сказал:

— Куда же я свою морду дену? Вон он в бинокль на нас смотрит.

Федор промолчал, но на душе у него стало спокойнее: все они поняли друг друга.

* * *

«А с высоты земля выглядит картой-двухверсткой», — подумал Федор, глядя в иллюминатор. Деревья казались спичками, горящими ярким зеленым пламенем. Дома — коробочки с красными черепичными крышами. Потом пошли леса, покрытые, словно пухом, свежей весенней зеленью. Рыжее пятно — болото с пожухлой травой.

«Может, это то самое? — неожиданно мелькнуло в голове Федора. — Нет. То много севернее, пожалуй...»

Он окинул взглядом лица своих спутников.

«Вот какая она, Победа! — и сам Федор радостно и широко улыбнулся какому-то незнакомому лейтенанту. — А я все никак не мог себе ее представить. Победа — значит спокойствие и радость на лицах, забвение постоянного напряжения, что вот... не свистнет, а угодит в тебя пуля, ударит огненный столб, разрыва рядом или скрытая в траве мина, как та, которая оторвала ногу Николаеву, и я, тоже раненный, тащил его на длинной еловой лапе, привязав двумя солдатскими ремнями.

Вот они сейчас летят и не думают, что выскочит из-за тучи «мессер» и они рухнут вниз.

Или вот, как Пестриков... Тогда они подошли к заставе на бросок гранаты и уничтожили врагов, которые дежурили у пулемета. Они думали, что это все. Однако из лесу выскочили сразу человек десять ошалелых фашистов. Пестриков посмотрел на них, подошел к пулемету, дал очередь. И сказал:

— Идите, дяденьки...

Так и сказал:

— Идите, дяденьки. Машинку эту я знаю. Патронов достаточно. Я прикрою. Только вы к лейтенанту Песне сходите. Первый взвод, первой роты, третий батальон, — он назвал номер полка, дал еще одну очередь, и Федор увидел, что Пестриков умеет обращаться с «машинкой». — Вот и скажите лейтенанту Песне, что я хоть и сопливый... Слышал я, назвал он как-то раз меня так... Но не сукин сын... Так и скажите. Чтоб не думал никто обо мне худо.

В глазах у него стояли слезы.

— Еще бате и мамке напишите. Адрес у лейтенанта, — затопился Пестриков и крикнул: — И уходите, уходите, разведчики! Пока я добрый! А то сил не хватит...

Стрельба смолкла, когда они, сделав большой крюк по крайней болота, вышли в лес и, тыкаясь в разных направлениях, пытались найти проход к своим. Но в лесу было полно вражеских солдат. Тогда вернулись к болоту, заночевали там и опять

целый день искали прохода. Вот тогда и нарвались на мину. И прошло еще трое суток, прежде чем Федору вместе с умирающим Николаевым удалось-таки выбраться к своим.

Это было подобно чуду, потому что, раненный сам, Федор едва соображал, как он поступает.

И вот девятнадцатого января весь госпиталь гудел как улей, и каждый раз, когда передавали по радио «В последний час», размеренный и торжественный голос Левитана произносил:

«Войска Третьего Белорусского фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали глубоко эшелонированную оборону немцев в Восточной Пруссии и, преодолевая упорное сопротивление противника, за пять дней наступательных боев продвинулись вперед до сорока пяти километров, расширив прорыв до шестидесяти километров по фронту...»



Федор лежал с закрытыми глазами и видел перед собой ту самую дорогу, на которой они подорвали бронетранспортер и добыли план фашистской обороны. И теперь по этой дороге шли наши «тридцатьчетверки».

Ему больше ни разу не пришлось ходить в разведку. Федор прибыл в часть в день своего рождения — третьего мая. Его вызвал командир дивизии.

— Опоздали, товарищ старший сержант! — смеясь, ответил генерал. — Я не ошибся, товарищ старший сержант! Старший! Третий орден получаешь — Золотую Славу. А с ней и внеочередное звание, — прищутив глаз, генерал присел на край письменного стола и доверительно спросил: — Ну, война кончилась, так открой мне свою военную тайну.

— Какую, товарищ генерал?

— Сколько тебе лет?

— В моем возрасте вы, товарищ генерал, командовали ротой у Азина, когда тот ликвидировал эсеровский мятеж в Казани...



— Загадками говоришь? А может, считаешь, что тебя, семнадцатилетнего, чином обошли? Шучу, шучу... И кто тебе, Федор, про Азина рассказал? Признавайся.

— Королев. Младший лейтенант Кузьма Демьянович Королев.

— Помню Королева... И Русских помню. Глыбу... «Тройного» Ивана... Такие солдаты не умирают. Друзья в сердце друга не умирают. И когда будешь идти на параде по Красной площади, помни — они тоже с тобой.

— Простите, товарищ генерал...

Тот махнул рукой, засмеялся:

— Вот кончается война, болтливым стал. Ну, уж коли сорвалось... Приказом вы, товарищ старший сержант Макаров, отчислены в сводный полк, который примет участие в Параде Победы.

...Леса, поля, свежие, весенние, проплывают под крылом самолета. Скоро Москва.

Но тогда Федор еще не знал, что ему будет оказана величайшая для воина честь. Он будет одним из тех, кто швырнет тяжелый, шитый золотом фашистский штандарт к подножью Мавзолея.





Г. ГУРЕВИЧ

ВОСЬМИНАДЦЕВЫЕ

Фантастический рассказ



Рисунки Н. ГРИШИНА

...Шь, Цю, Шьялалли, Чачача, Чауф, Чебе, Чбуси, Чгедегда..

Гурман, изучающий ресторанное меню, кокетка на выставке мод, книголюб, завладевший сокровищницей букиниста, ребенок перед витриной магазина игрушек в слабой степени ощущают то, что я чувствовал, произнося эти названия, — реестр планет, предложенных мне иносолярами для посещения. Любую — на выбор.

Шаушитведа, Шафилэ, Шафтхитхи, Шаххах.

И киберсправочник, похожий на чертенка со своими псирожками, прыгая по столу, пояснял чирикающим голосом:

— Шафилэ. Желтое небо. Суши нет. Две разумные расы, подводная и крылатая. Три солнца, два цветных и тусклых. Ночи синие, красные и фиолетовые вперемежку. Шафтхитхи. Зеленое небо. Форма жизни — электромагнитная. Миражи, отражающие ваши лица. Шаххах. Голубое небо. Горячие трясины. Форма жизни — стеклянно-силикатная. Ярко-белая трава...

Эи, Эазу, Эалинлин, Эароп...

— Эту хочу, — сказал я, нажимая кнопку..

Почему я выбрал именно эту планету? Только из-за названия. Я знал, что «роп» означает «четыре», «э-а» — просто буквы. Эароп — четвертая планета невыразительного солнца, обозначенного в каталоге буквами Эа. Но все вместе звучало похоже на «Европа». Не мог же я не побывать на той космической Европе, ничего не рассказать о ней на Земле.

— Небо безвоздушное, чернотезное, — прочитал киберчертенок. — Солнце красное, класса М. Температура — 20—30° выше абсолютного нуля. (Надеюсь, вы догадываетесь, что я перевожу иносоляские меры на наши земные.) Залежи германия

Заброшенный завод устаревших машин на триодах, программных, типа «дважды два». Персонал эвакуирован. Собственной жизни нет. Интересы для посещения не представляет, опасность представляет. Автоматы-разведчики с планеты не возвращаются. Рекомендую соседнее небесное тело — Эалинлин. Небо красное. Гигантские поющие цветы, мелодичными звуками привлекающие птиц-опылителей. Симфонии лугов, баллады лужайек. Все композиторы летают вдохновляться...

Хозяевам виднее. Я не стал спорить.

— Дашь поющие цветы, — сказал я. — Закажи мне рейс.

Когда-нибудь в отдельной повести я расскажу, как путешествуют иносолнцы в своем шаровом скоплении. Их корабли похожи на наши ракеты и стартуют как ракеты, вертикально. Но потом они не разгоняются, а каким-то образом ввинчиваются в пространство. И чувство при этом такое, будто берут тебя за ноги и шею и выжимают, как мокрое белье, выкручивают, выворачивают все суставы, из каждой клеточки выжимают сок. Сначала крутят в одну сторону, потом в обратную — вывинчивают. И, выжатый, измочаленный, задышающийся, ты оказываешься неизвестно как в другой солнечной системе. Вот тебе солнце Эа спектрального класса М, вот певучая планета Эалинлин, а поодаль Эароп — нестоящая.

Не завернуть ли туда все-таки? Ведь дома меня обязательно спросят, что это за Европа в дальнем космосе?

Сказано — сделано. Даю задание на расчет. Идет обычный спуск, торможение дюзами вперед. Рев Толчок. Ватная тишина. И я на чужой, незнакомой планете.

Нет, я не пожалел, что завернул на ту Европу, хотя она совсем не была похожа на нашу — голая, скалистая, совершенно безжизненная планета. Сила тяжести здесь была достаточная, чтобы удержать атмосферу, но далекое солнце Эа присылало слишком мало тепла, и воздух замерз, превратился в углекислый снег, азотные лужи, дымящиеся, как проруби в морозный день. В красном свете солнца Эа дымка эта казалась красноватой, в лужах играли кровавые блики. Освещенные красным скалы переливались всеми оттенками пурпурного, багрового, алого, малинового, кирпичного, вишневого, фиолетового, красноватого. А тени были тоже бурые, или шоколадные, или цвета запекшейся крови, а в глубине — бархатно-черные, или темно-зеленые почему-то. Дали просвечивали сквозь красноватый туман, напоминая зарево пожара, вершины были как догорающие угли, а утесы, вонзившиеся в небо, словно замерзшие языки пламени. И над всем этим окаменевшим пожаром висело слабосильное малиновое солнце, висело на черном небе, не гася звездного бисера, не стирая узоров мелких созвездий шарового. Их здесь в тысячи раз больше, чем на нашем небе, любую фигуру можно найти, даже собственный профиль.

Наверное, в час я любовался этим этюдом в красных тонах. Выковыривал из почвы гранаты, в клеточных лужах собирал горсти рубинов. Увы, трезвый свет электрического фонаря превращал эти рубины в обломки кварца. Потом я заметил целый букет каменных цветов. Полез проверять, что это — дру-

за горного хрусталя или нечто неизвестное? И такая неосторожность — нарушил основную заповедь космонавта: «Один на незнакомой планете не удаляйся от ракеты».

Единственное оправдание: планета-то была явно непригодная для жизни.

А когда я спрыгнул со скалы с обломком кристалла под мышкой (все-таки это был горный хрусталь, а не рубин), между мной и ракетой стояли три тумбы.

Нет, я не испугался. Это были стандартные рабочие кибы, обычного принятого в шаровом образца, с ячеистыми фотоглазами под довольно узким лбом-памятью и с четырьмя ногами, прикрепленными на кривошипях на уровне висков. Иносолнцы считают эту схему наиболее рациональной. С опущенными плечами машины могут ходить, с поднятыми — работать стоя. А на узком лбу я разглядел стандартный знак: квадрат с двумя черточками слева и с двумя снизу — дважды два — четыре.

«Ах да, здесь же был завод программных машин. Кибер-справочник говорил мне про него. Ну, тогда бояться нечего...»

— Гвгвгвгвгвгв. .

Каждый владелец магнитофона знает этот свистящий щебет, звук разматывающейся ленты, чиликанье проскакивающих слов. Стало быть, машина была не только самодвижущаяся, но и разговаривающая. Только разговаривала слишком быстро.

Я провел рукой направо и вниз, показывая, что темп надо снизить. Видимо, машина знала этот жест, потому что щебет прекратился, я услышал членораздельные слова на кодовом диалекте иносолнцев.

— Он зовет тебя, — сказала машина.

— Кто «он»?

Я не очень надеялся получить осмысленный ответ, потому что на лбах у машин рядом с квадратом были привинчены шесть нулей, то есть шестизначное число элементов — достаточно, чтобы ходить и говорить, но слишком мало, чтобы понимать вопросы. Однако на мой простой вопрос я получил ответ.

— Он всезнающий, — сказала одна тумба.

— Он вездесущий.

— Он всемогущий.

«Вот тебе на, — подумал я. — Нашелся среди программистов чужак, который сочинил религию для роботов. Интересно, стоит ли быть богом машин, приятно ли это?»

— Он зовет тебя.

Но я хорошо помнил, что «автоматы-разведчики с планеты не возвращаются». И «завод остановлен, персонал эвакуирован». И не вызывал у меня доверия этот застрявший здесь никому не ведомый программист, упивавшийся поклонением машин. Что-то ненормальное чудилось в этой мании величия. Не разумнее ли уклониться от встречи с маньяком?

— Благодарю за приглашение, — начал я, пятясь к ракете. — В следующий раз я обязательно...

Продолжать не пришлось. Вдруг я взлетел вверх и прежде, чем успел сообразить что-нибудь, очутился на плоском те-

мении одной из машин. Другие держали меня под мышки справа и слева. И тут же их ноги зашлепали по лужам цвета раздавленной клюквы.

— Стой! Куда? Пустите!

— Он зовет тебя!

Пришлось подчиниться, тем более что машины, шагающие рядом, цепко держали меня, то ли для того, чтобы не свалился, то ли для того, чтобы не сбежал. Лапы у них были лютые, с острыми краями, и я боялся сопротивляться, как бы не порвали скафандр.

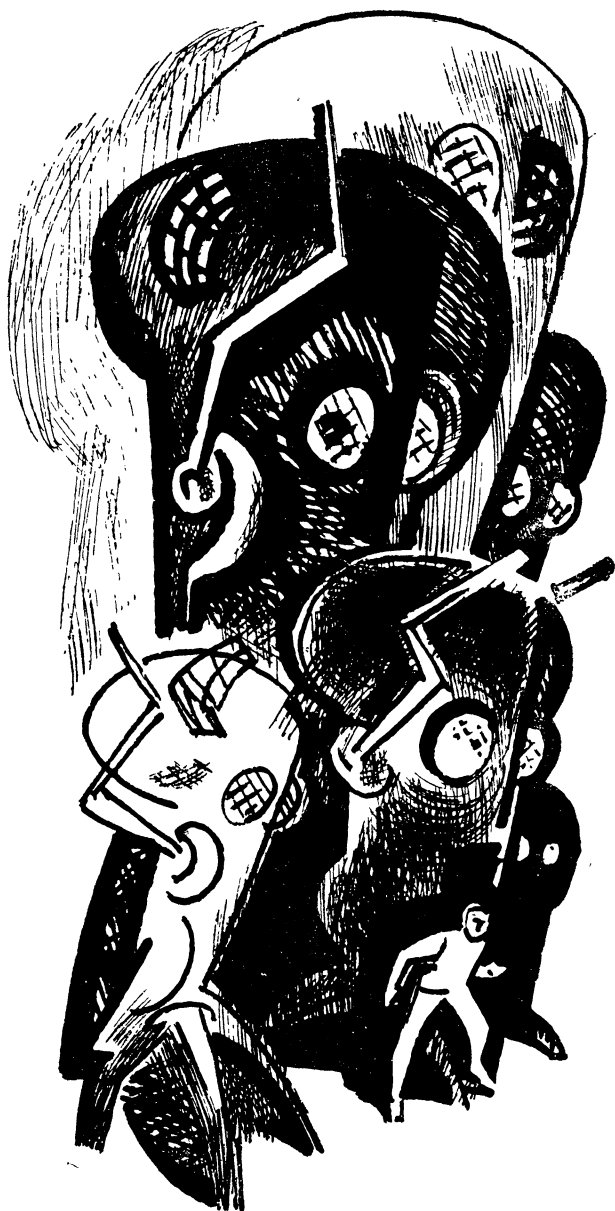
Ноги машин выбивали дробь по камням, они переступали куда чаще человеческих. Мы мчались по бездорожью со скоростью автобуса. Внутри у меня все дрожало, копчик болел от ударов о жесткую макушку робота, в глазах мелькали мазки кармина, киновари, крап-лака, сурика. Мы шли малиновыми холмами, темно-гранатовой ложиной, пересекали реку, похожую на вишневый сироп, углубились в ущелье со скалами цвета бордо. Алое солнце За уже клонилось к горизонту, и тени, четкие, как на всякой безвоздушной планете, черной тушью лились по низинам.

Ненадолго мы нырнули в тушь, утонули в черноте. Я не видел ничего, как ни таращил глаза. Но машины, должно быть, различали инфракрасное сияние, они топали так же уверенно. И опять мы вернулись из ночи в багровый день. Вдали я увидел удлинённые корпуса и, в нарушение цветовой гаммы, желтые глаза прожекторов, голубые вспышки сварки.

«А завод-то на ходу! — подумал я. — Не заброшен. Ошибка мой кибер-чертенок».

Впрочем, к корпусам мы не пошли, сразу же свернули в сторону и остановились у покатога пандуса, ведущего вглубь. Привычная картина. Передо мной было обычное подземное убежище инособнцев, предохраняющее от метеоритов на безвоздушных планетах. Все было знакомо. В конце пандуса шлюз. Баллоны с кислородом, азотом, гелием, водородом... кому какой газ нужен За шлюзом коридор. Комнаты. В комнате ванна и рабоматор — этот чудесный прибор инособнцев, расставляющий атомы в заданном порядке, изготовляющий любую пищу по программе. Ленты с программами у меня были. Ожидая, пока «Он» позовет меня, я изготовил себе спекс жареный, спекс печеный, кардру, ю-ю и соус 17-94. Что это такое, объяснять бесполезно. Блюда эти придуманы инособнскими химиками в лабораториях, формулы смесей невероятно длинные и ничего вам не скажут. В общем спекс — это нечто жирно-соленое, кардра — кисло-сладкое, ю-ю пахнет ананасами и селедкой, а соус 17-94 безвкусен, как вода, но возбуждает волчий аппетит. И я возбудил волчий аппетит, поужинал спексом и прочим и, поскольку «Он» все еще не звал меня, завалился спать. День был тяжелый Я ввинчивался в пространство, потом вывинчивался, тряся на стальной макушке, попал в плен, не то в гости. И если в таких обстоятельствах вы не спите от волнения, я вам не завидую.

Полутору я не сам проснулся. Меня разбудили гости — тоже машины, но куда больше вчерашних, такие громоздкие, что они не могли влезть в комнату, вызвали меня для разговора



в пустой зал, вероятно, в прошлом спортивный, с сухим бассейном в центре. В этом бассейне они и расположились, уставив на меня свои фотоглаза. У них тоже были ноги на кривошипях, подвешенные к ушам, и лбы с эмблемой «дважды два». Но у вчерашних машин лбы были узкие, плоские физиономии имели вид удивленно-идиотский. У этих же глаза прятались глубоко под монументальным лбом, и выражение получалось серьезно-осуждающее, глубокомысленное. Вероятно, это в самом деле были глубокомысленные машины, потому что рядом с квадратиком у них были привинчены пластинки с восемью нулями. Сотни миллионов элементов — это вычислительные машины высокого класса.

— Он приветствует тебя, — объявили они, настроившись на привычный для меня лад речи.

— Я готов идти к нему. Надо надеть скафандр?

— Нам Он поручил познакомиться с тобой сначала.

Я подумал, что этот «Он» не слишком-то вежлив. Может бы и сам поговорить со мной, не через посредство придворных машин. Но начинать со споров не хотелось. Коротко я рассказал, что я космический путешественник, прибыл с далекой планеты по имени Земля, осматриваю их шаровое скопление, завернул на Эароп, потому что у нас тоже есть материк Европа, я и сам живу там.

— Исследователь, — констатировала одна из машин.

— Коллега, — добавила другая. (Я поежился)

А третья спросила.

— Сколько у тебя нулей?

— Десять, — ответил я, вспомнив, что в мозгу у меня пятнадцать миллиардов нервных клеток, число десятизначное

— О-о! — протянули все три машины хором. Готов был поручиться, что в голосах у них появилось почтение. — О! Он превосходит нас на два порядка.

— А какой критерий у тебя? — спросила одна из машин

— Смотри для чего! — Я пожал плечами, не поняв вопроса.

— Ты знаешь, что хорошо и что плохо?

Я подумал, что едва ли им нужно цитировать Маяковского, и предпочел ответить вопросом на вопрос:

— А какой критерий у вас?

И тут все три, подравнявшись, как на параде, и подняв вертикально вверх левую переднюю лапу, заговорили торжественно и громко, как первоклассник-пятерочник на сцене:

— Дважды два — четыре. Аксиомы неоспоримы. Только Он знает все (хором).

— Знать — хорошо (первая машина).

— Узнавать — лучше (вторая).

— Лучшее всего — узнавать неведомое (третья).

— Не знать — плохо (мрачным хором).

— Только Он помнит все.

— Помнить — хорошо. Запоминать — лучше. Наилучшее — запоминать неведомое.

— Забывать плохо! (хором).

И опять:

Только Он Всесчитающий дает аксиомы.

— Считать хорошо. Решать уравнения — лучше. Составлять алгоритмы решений — наилучшее.

— Ошибаться — плохо!

Там были еще какие-то пункты насчет чтения, насчет постановки опытов, насчет наблюдений, я уже забыл их (забывать — плохо!). А кончалась эта декламация так:

— Кто делает хорошо, тому прибавят нули.

— Кто делает плохо, того размонтируют.

— Три — больше двух. Дважды два — четыре.

— Ну что ж, этот критерий меня устраивает, — сказал я снисходительно. — Действительно, дважды два — четыре, и знать хорошо, а не знать плохо. Поддерживаю.

И тогда мне был задан очередной вопрос коварной анкеты:

— А какая у вас литера, Ваше десятинулевое превосходительство?

— Нет у меня никаких литер. Я выше литер.

— У каждого специалиста должна быть литера. Вот я, например, восьминулевой киберисследователь «А», я — астроном. Мой товарищ «В» — восьминулевой биолог, а это восьминулевой «С» — химик и физик.

— В таком случае я — АВС и многое другое. Я космический путешественник, это комплексная специальность, она включает астрономию, биологию, химию, физику и прочее.

И зачем только я представился так нескромно? Почтительность машин вскружила мне голову. «Ваше десятинулевое превосходительство»! Я и повел себя как превосходительство. И тут же был наказан.

А — восьминулевой первым кинулся в атаку:

— Какие планеты вы знаете в нашем скоплении?

Я стал припоминать:

— Ць, Цью, Цьялалли, Чачача, Чауф, Чбебе, Чбуси, Чгдегда... Эан, Эазу, Эалинлин, Эароп — ваша... Еще Ээдана (столичная планета, та, откуда я прибыл сюда)...

— Нет, я спрашиваю по порядку. В квадрате А — 1, например, мы знаем, — затороторил А, — 27 звезд. У звезды Хмеас.. координаты такие-то, планет столько-то, диаметры орбит такие-то, эксцентриситеты такие-то... — Выпалив все свои знания о двадцати семи планетных системах, А остановился с разбегу: — Что вы можете добавить, Ваше десятинулевое...

— В общем ничего. Я... хм, я новичок в вашем шаровом. Я не изучил его так подробно...

Затем на меня навалился С — химик.

— Атомы одинаковы на всех планетах. Сколько типов атомов знает Ваше десятинулевое?

Сто четыре элемента были известны, когда я покидал Землю. Я попробовал перечислить их по порядку: водород, гелий, литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород, фтор, неон, натрий, магний, алюминий... В общем я благополучно добрался до скандия. А вы, читающие и усмехающиеся, знаете и дальше скандия наизусть?

— А изотопы? — настаивал дотошный С. И выложил тут же свой запас знаний: — Скандий. Порядковый номер 21. Заряд ядра 21. Атомный вес стабильного изотопа 45, в ядре 21 протон и 24 нейтрона. Нестабильные изотопы 41, 43 и 44. У всех

бета-распад с испусканием позитронов 46, 47, 48 и 49 — бета-распад с испусканием отрицательного электрона. У изотопа 43 наблюдается К-захват электрона с внутренней орбиты. Периоды полураспада. у изотопа 41 — 0,87 секунды, у изотопа 43...

И закончил сакраментальной фразой:

— Что вы можете добавить?

Я молчал. Ничего я не мог добавить.

И тогда выступил В, чтобы добить меня окончательно:

— Но себя-то Вы знаете превосходно, Ваше десятинулевство? Что Вы можете сообщить нам о составе своего тела?

— Очень много, — начал я уверенно: — Тело мое состоит в основном из различных соединений углерода, находящихся в водном растворе. Важную роль играют в нем углеводы, жиры, еще более важную — белки, строение которых записано на нуклеиновых кислотах. Белки — это гигантские молекулы в форме лент, перевитых, склеенных или свернутых в клубки. Все они состоят из аминокислот...

— Каких именно?

Я молчал. Понятия не имел. А у вас есть понятие?

— Входит ли в состав ваших белков аланин, аргинин, аспаргик, валин, гистидин, глицин, глютамин, изолейцин, лейцин, лизин?... — Он перечислил еще кучу «инов».

— Понятия не имею.

И не стеснясь больше, уже не величая меня десятинулевым превосходительством, заговорили обо мне откровенно, как я говорил бы о подопытной собаке.

— Он знает меньше нас. Возможно, он не десятинулевой на самом деле. Надо бы вскрыть его кожух и пересчитать блоки, — предложил А.

— У него темп сигнала медленнее наших, — заметил С. — Ему на каждое вычисление требуется больше элементов.

И В добил меня окончательно

— У них, органогенных, сложный механизм с внутренней саморегулировкой и саморемонтом. Почти все элементы загружены этим саморемонтом, поддержанием существования. Изучением мира занята едва ли тысячная часть.

— Значит, он семинулевой практически!

— С учетом скорости сигнала — пятинулевой!

— Он ниже нас. Ниже!!!

— Доложим! Немедленно!

У всех троих появились над головой чашеобразные антенны, встали торчком, словно уши насторожившейся кошки. На всю планету В объявил о моем позоре:

— Объект, прибывший из космоса, оказался органогенным роботом. Он объявил себя универсальным десятинулевым, но при проверке оказалось, что вычисляет он медленно, знания его не специфичны, поверхностны и малоценны. Ни в одной области он не является специалистом, даже о своей конструкции осведомлен мало и нуждается в тщательном исследовании квалифицированными машинами нашей планеты

Я был так пристыжен и подавлен, что не нашел в себе сил сопротивляться и тут же отдал лаборатории три капли своей таинственной крови, замутненной аланином, аргинином, аспаргином и черт знает еще чем.

Учиться никогда не поздно, и следующие дни мы провели в добром согласии с любознательными *А*, *В* и *С*. И я, в свою очередь, проявлял любознательность, в результате чего получил немало сведений о свегилах, белках и изотопах. Сведения эти я здесь не излагаю, потому что они представляют интерес только для специалистов — координаты, формулы, уровни энергии, все с точными цифрами. Кроме того, мы совершили несколько занимательных экскурсий. *А* показал мне астрономическую обсерваторию с великолепнейшим километровым вакуум-телескопом. (Иносолнцы делают линзы не из прозрачных веществ, а из напряженного вакуума, искривляющего лучи так же, как Солнце искривляет световой луч, проходящий поблизости) *В* продемонстрировал электронный микроскоп величиной с Пизанскую башню. С возил меня по городку Химии и Физики, окруженному как крепостной стеной синхрофазотроном диаметром в девять километров. И все трое вместе показывали мне завод, который я видел издалека в день прибытия, — гигантское здание, полыхающее голубыми огнями. Оказывается, это был завод-колыбель, здесь в массовом порядке с конвейера сходили шести- и восьминулевые *А*, *В*, *С*, *D*, *E*, *F*, *G*, *M*, *P* и прочие буквы алфавита. Занятно было видеть на деловых дворах заготовки: шеренги ног, левых и правых по отдельности, полки с ушами, штабеля глаз, квадратные черепа, еще пустые, не заполненные памятью, и отдельно блоки памяти, стандартные, без номеров. А рядом за стеной новенькие отполированные восьминулевки проходили первоначальное программирование. Срывающимися неотшлифованными голосами они галдели вразнобой:

— Он всезнающий. Он вездесущий. Он всемогущий. Он дает аксиомы. Дважды два — четыре. Знать — хорошо, узнавать — лучше.. Помнить — хорошо, забывать — плохо...

И всюду машины, машины, машины! Машины у телескопа, машины у микроскопа, машины делают машины на заводе. Ни одного живого человека (если иносолнцев называть людьми). Машины ведут исследования. Для кого, для чего? Знать — хорошо, узнавать — лучше! Это аксиома. Кто дает аксиомы? Он!

— Кто же Он? — допытывался я.

— Вездесущий! Всемогущий! Аксиомы дающий!

— Он материализованная аксиома, — сказал *В*. Любопытное проявление идеализма в машинном сознании.

— Откуда Он?

— Он был всегда. Он создал мир и аксиомы. И нас по своему образу и подобию.

Тут уж я расхохотался. Наивное самомнение верующих машин! Если бог, то обязательно по их подобию.

— Разве вы не видели его своими собственными фотоэлементами?

— Он непостижим для простых восьминулевых. Он необозрим. Он бесконечен.

Все эти дикие преувеличения разжигали мое любопытство. «Кто же этот таинственный Он? — гадал я. — Маньяк ли с ущемленным самолюбием, который тешится поклонением машин? Фанатик науки, ничего не замечающий в практическом мире, увлеченный самодовлеющим исследованием ради исследо-

вания? Или безумец, чей бестолковый лепет машинная логика превращает в аксиомы? «Непостижим! Необозрим! Бесконечен! Бессмыслица!»

Но с машинами рассуждать было бесполезно. За пределами своей специальности мои высокоученые друзья не видели ничего, легко принимали самые нелепые идеи. Впрочем, как я убедился вскоре, нелепости у них получались и в своей специальности, как только они выходили за край своей сферы.

Восьминулевому А я рассказывал о Земле. Рассказывал, как вы догадываетесь, с пафосом и пылом влюбленного юноши. Говорил о красках, о семи цветах радуги, о бирюзовом, лазурном, лимонном, золотистом, апельсиновом и о всех оттенках зеленого, обо всем, чего не видали заропяне на своей одноцветной планете, говорил о брize и шторме, о запахе сырой земли, прелых листьев и винном духе переспелой земляники, о наивной нежности незабудок и уверенных толстячках подосиновиках в туго натянутых рыжих беретах. Говорил... и вдруг услышал шипящее бормотанье. А стирал мои слова из своей машинной памяти.

— В чем дело, А?

— Хранить недостоверное — плохо. Ты не мог видеть всего этого на планете, отстоящей на семь тысяч парсеков.

И он привел расчет, из которого следовало, как дважды два — четыре, что даже в телескоп размером во всю планету Эароп нельзя на таком расстоянии рассмотреть землянику и подосиновики.

— Но я же был там. Я не в телескоп смотрел.

— Далекие небесные тела изучают в телескоп, — сказал А. — Это аксиома астрономии. Почему ты споришь со мной, ты же не астроном?

— Но я прилетел оттуда.

— Нельзя пролететь за полгода двадцать тысяч световых лет. Скорость света — предел скоростей. Это аксиома.

Час спустя аналогичный разговор произошел с химиком С.

— Морей быть не может, — сказал он. — Жидкость из открытых сосудов испаряется. У вас же нет крыши над морем.

Я стал объяснять, что жидкость испаряется без остатка только на безатмосферных планетах. Рассказал про влажность воздуха, про точку росы. С прервал меня:

— Все это неточности. Ты не знаешь состава воды и выдумываешь какие-то премудрости. Почему ты споришь со мной? Ты же не химик и не физик.

Но всех превзошел восьминулевый В.

Дело в том, что я простыл немного, разговаривая с ними с утра до ночи в неотапливаемом спортивном зале. Простыл и расчихался. Услыхав непонятные звуки, восьминулевые спросили меня, что я подразумеваю под этими специфическими, носом произносимыми словами.

— Я болен, — сказал я. — Я испортился. У меня организм разладился.

В прокрутил свои записи об анализах моей крови и объявил:

— Справедливо. Сегодняшний анализ указывает на повышенное содержание карбоксильного радикала в крови. Сейчас я вы-

зову фильтрационную установку, мы выпустим из тебя кровь, отсепарируем радикал...

— Предпочитаю стакан ЛА-29 (лекарство иносолищев, напоминающее по действию водку с перцем). Сейчас выпью, лягу, укурюсь потеплее.

— Не спорь со специалистом, — заявил В заносчиво — Ты же не биолог...

И тут уж я им выдал. Тут я рассчитался за все унижения: — Вы, чугунные лбы, мозги, приваренные намертво, схемы печатные с опечатками, вы, безносые, чиханья не слыжавшие, специалитики-специфистики, узколюбые флюсы ходячие, не беритесь вы спорить с человеком о человеке. Человек — это гордо, человек — это сложно, это величественная неопределенность, не поддающаяся вычислению. Это неведомое, а чтобы понимать неведомое, надо рассуждать. Рассуждать! А вас научили только вычислять: дважды два — четыре, три — больше двух!

К моему удивлению, машины смиренно выслушали меня, не перебивая. И самый любознательный из троих — А восьминулевой (потом я узнал, что у него было больше всего пустых блоков памяти) сказал вежливо

— Знать — хорошо, узнавать — лучше. Мы не знаем, что такое «рассуждать». Дай нам алгоритм рассуждения.

Я обещал подумать, сформулировать. И всю ночь после этого, подогретый горячим пойлом, лихорадкой и вдохновением, я писал истины, известные на Земле каждому студенту-первокурснику и абсолютно неведомые высокоученым железкам с восьминулевой памятью.

АЛГОРИТМ РАССУЖДЕНИЯ

1. Дважды два — четыре в математике, но в природе не всегда так просто. В бесконечной природе нет абсолютно одинаковых предметов и абсолютно одинаковых повторов. Две супружеские пары — это четыре человека, но не четыре солдата. Две девушки и две старушки — это четыре женщины, но не четыре плясуньи. И три не всегда больше двух. два грамотея начитаннее трех невежд, два храбреца прогонят трех трусов. Поэтому прежде чем перемножить два на два, нужно проверить сначала, можно ли два предмета считать одинаковыми и два раза тождественными. Если же рассчитывается неизвестное, безупречные вычисления с помощью логарифмов не достовернее гадания на кофейной гуще.

2. Даже если второй шаг неотличим от первого, а сотый, тысячный и миллионный от второго, нельзя утверждать, что и миллион первый шаг будет таким же. Путь наш идет по суше, а где-то упрется в море, и мы захлебнемся, продолжая упорно идти вперед. Есть формулы для пешеходов, есть формулы для мореплавателей. Метод расчёта надо менять вовремя. И не забывать, что планеты шарообразны: кто уходит на восток, в конце концов приходит с запада.

3. Мир бесконечен, а горизонт всегда ограничен. Мы зна-

ем только частичку мира, для нас громадную, по сравнению с бесконечностью ничтожную. Мы наблюдаем окрестности и выводы из наших наблюдений считаем законами природы. Но законы Франции кончаются у французской границы, законы суши — на морском берегу. Кто уходит на восток, приходит с запада. «Так» где-то превращается в «иначе» и еще где-то в «наоборот». И то, что нам, при нашем кругозоре, кажется аксиомой, на самом деле только правило, местное, временное, с граничными условиями где-то за горизонтом.

4. Мир бесконечно разнообразен, и нет единых методов для его изучения и осмотра. Три километра я предпочту пройти пешком, тридцать проеду на автомашине, триста — в поезде, три тысячи — в самолете, для трехсот тысяч — построю ракету, для трехсот миллионов — ракету ядерную, для трехсот триллионов — фотонную. Чтобы прилететь сюда — в шаровое скопление, — фотонная ракета не годится, для этого нужно было инсолнское интегрирование И у специалистов-ракетчиков, об интегрировании не ведающих, всегда есть соблазн объявить, что полеты в шаровое вообще невозможны.

Блоху я рассматриваю в лупу, бактерию — с помощью микроскопа. У микроскопа есть свой предел — длина световой волны. Чтобы проникнуть глубже, я применяю микроскоп электронный, потому что электронные волны короче световых. Но чтобы разглядеть электроны, электронный микроскоп не пригоден принципиально. И у специалистов-электронщиков всегда есть соблазн объявить, что электрон неделим и даже непознаваем. Хотя мы отлично знаем, что это не так.

Мир бесконечно разнообразен. Мы всегда знаем часть и чего-то не знаем. Если неизвестное несущественно, мы предсказываем и высчитываем довольно удачно. Но когда неизвестное играет существенную роль, расчеты лопаются как мыльные пузыри. И у специалистов-расчетчиков всегда есть соблазн объявить, что наука исчерпала себя, дальше — неопределенность, непознаваемость, непреодолимость. Видимо, неудобно признаваться, что ты не умеешь лечить, приятнее признать болезнь неизлечимой. Неудобно сказать, что ты зашел в тупик, приятнее утверждать, что дальше нет ничего. Но дальше есть всегда. Нет границ познания для разума.

Всю ночь я писал эти прописные истины, а наутро, волнуясь, как начинающая поэтесса, прочел их трем чугунолобым слушателям, в глубине души надеясь, что реабилитирую себя в их фотоэлектронных глазах, услышу слова удивления и восхищения...

И услышал... шипящее бормотание. А, В и С — все трое сразу — решили стереть мои слова из памяти.

— Что такое? Почему? Вы не хотите рассуждать?

— Твой алгоритм неверен, — сказал А. Если дважды два — не четыре, тогда все наши вычисления ошибочны. Ты подрываешь веру в математику. Ты враг науки.

— Если аксиомы — не аксиомы, тогда все наши исследования ошибочны. Ты подрываешь веру в ученых. Ты враг труда, — добавил В.

— Аксиомы дает Аксиом Всезнающий, — заключил С. — А если бы мир был бесконечен, он не мог бы знать все. Ты клеветник, ты враг Аксиома

— Враг! Враг! Враг!!!

Они угрожающе подняли лапы, и новоявленный пророк ретировался за дверь, слишком тесную для восьминулевых.

В тот день я почувствовал, что мне надоела эта планета. Дважды два Я был болен и зол, глаза у меня устали от одноцветности, от малиновых рассветов и багровых вечеров. Мне захотелось на бело-перламутровую Эалинлин с оркестрами поющих лугов, а еще бы лучше — на Землю, зелено-голубую, милую, родную, человеческую, где по улицам не расхаживают литые ящики с нулями на лбу. И я сказал моим друзьям-недругам, что намерен покинуть Эароп. Если их Аксиом хочет со мной знакомиться, пусть назначает аудиенцию, а если не хочет, счастливо ему оставаться в приятном обществе бродячих комодов.

А, В и С немедленно вздернули свои радиоушки, и через минуту я получил ответ:

— Всеведущий хочет, чтобы ты задержался, пока мы не изучим тебя. Ты единственный человек, посетивший нашу планету, заменить тебя некем. Ведь у нас нет собственной биожизни. Все В изучают экспонаты, прибывающие на ракетах.

— И сколько времени нужно вам на изучение?

— Надо записать координаты клеток, точное строение основных разновидностей, формулы белков и нуклеиновых кислот. Итого: около трехсот триллионов знаков по двоичной системе. Если записывать непрерывно по тысяче знаков в секунду, за триста миллиардов секунд можно справиться с этой работой.

— Триста миллиардов секунд? — заорал я. — Десять тысяч лет? Да я не проживу столько

— Откуда тебе известно, сколько ты проживешь? По какой формуле ты высчитываешь будущее?

— Откуда? Оттуда! Я человек и знаю, сколько живут люди. Я уже старею, у меня виски седые. Не понятно, головы с антеннами? Я разрушаюсь, я разваливаюсь, я порчусь. Я испорчусь окончательно лет через двадцать, если не раньше.

— Мы предохраним тебя от порчи, — заявил В самонадеянно. — Соберем совещание лучших биологов и обсудим, как сделать тебе капитальный ремонт

Вот чего не было на планете аксиомов — волокиты. Уже через три часа в пустующем бассейне состоялся консилиум В-машин разного ранга. Сюда набилось десятка два восьминулевок всех специальностей. Приползли даже гиганты девятинулевые, но эти не смогли втиснуться в шлюз, им пришлось оставить громоздкие мозги снаружи, а на совещание прислать только лица с глазами и ушами, кабелем соединенные с телом. Мне это напомнило желудок морской звезды, который выпол-

зает изо рта, чтобы поймать и переварить добычу, слишком крупную для того, чтобы проглотить ее.

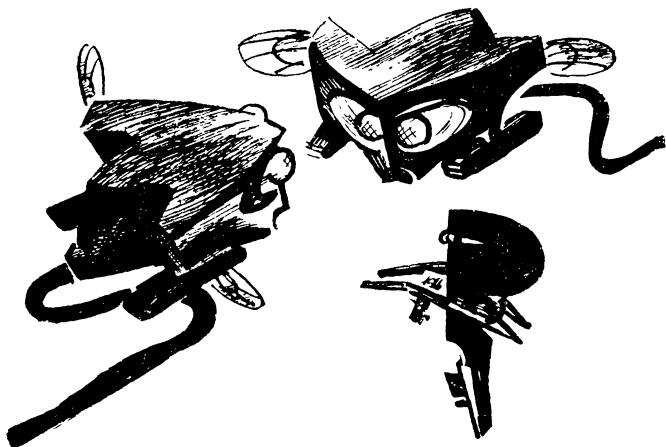
Мой друг В с восемью нулями изложил историю болезни примерно в таких выражениях:

— Перед нами примитивный первобытный органогенный механизм, имеющий мелкоклеточное строение. Автоматический ремонт идет у него в масштабе отдельных клеточек, и нет никакой возможности разобрать агрегат и заменить испорченные блоки. По утверждению самого объекта индикатором общего состояния механизма служит цвет бесполезных нитей, находящихся у него снаружи на верхнем кожном покрове. Нити эти белеют, когда весь механизм начинает разлагиваться. Задача состоит в том, чтобы провести капитальный ремонт агрегата, не разбирая его на части даже для осмотра.

Минутное замешательство. Лица девятинулевых осматривают меня со всех сторон, и, конечно, кабели перекручиваются. Восьминулевки почтительно распутывают начальство, чьи шеи завязались узлами.

Первым взял слово девятинулевик Ва — биоатмосферик, новенький с виду с зеркально-блестящим, как будто лысым черепом.

— Рассматриваемый несовершенный агрегат, — заявил он, — в отличие от нас, сходящих с конвейера в законченном виде, находится в постоянном взаимодействии с внешней средой и целиком зависит от нее. Причем важнее всего для него газы, которые он всасывает через отверстия головного блока каждые три-четыре секунды, а из газов самый главный — кислород. Между тем кислород служит для сжигания вещества и при обильной подаче кислорода горение идет быстрее. Если мы хотим, чтобы агрегат сгорел не за двадцать, а за двадцать тысяч лет, нужно уменьшить концентрацию кислорода в тысячу раз, и жизненный процесс замедлится в нужной пропорции.



— Среда — ерунда! — рявкнул другой девятинулевик, *Вр* — биопрограммист. — У агрегата есть программа, закодированная на фосфорно-кислых цепях с отрезками. Там все записано: цвет головных нитей, форма носа, рост, длина ног и, наверное, отмечен срок жизни. Надо разыскать эту летальную запись и заменить ее во всех клетках.

Вс — биохимик высказал свое мнение:

— Агрегату нужен не только кислород, но и питательные материалы и катализаторы. Все они доставляются в клеточки по эластичным трубочкам разного диаметра. С годами эти трубочки покрываются накипью из плохо растворимых солей кальция. Я рекомендую промыть их крепкой соляной кислотой, и тогда доставка наладится.

Вк — биокибернетик:

— Для таких сложных систем, как изучаемый агрегат, решающее значение имеет блок управления. Замечено, что этот блок — агрегат называет его «мозгом» — периодически отключается часов на восемь, и это время вся система находится в неподвижном и бездеятельном состоянии. Замечено, что период бездеятельности относится к периоду деятельности как один к двум. Чтобы продлить существование агрегата в тысячу раз, нужно увеличить это отношение, в тысячу раз, довести его до 500 : 1, то есть каждый день пробуждать агрегат на три минуты, остальное время держать его в состоянии так называемого «сна».

Вл — биототалист (я бы перевел как психолог):

— Такие сложные системы надо наблюдать в целом. Замечено было, что агрегат функционирует наилучшим образом в состоянии интересной деятельности. Получив интересное задание на составление алгоритма рассуждения, агрегат, несмотря на неисправность, провел ночь без так называемого «сна» и наутро чувствовал себя превосходно. Видимо, деятельность для агрегата предпочтительнее отдыха. Поэтому я предлагаю подобрать увлекательные задачи на каждую ночь, и агрегату некогда будет думать о порче.

Рецепты явно противоречили друг другу, и мои целители сцепились в яростном споре. Девятинулевики опять завязались узлами, яростно бодая головами друг друга. Я смотрел на всю эту свалку равнодушно. Мне как-то было безразлично: умереть ли от удушья, от соляной кислоты, от переутомления или от снотворных.

— Я сложное существо, — пробовал я убеждать своих докторов. — Нельзя меня изменить, дергая за одну ниточку.

И тут, объединившись, спорщики накинулись на меня:

— Как ты смеешь возражать самим девятинулевым? Ты же не биолог!

День спустя от своего постоянного куратора *В* я узнал, что, не сговорившись между собой, машины приняли решение проводить на мне опыты поочередно, в алфавитном порядке. Первым оказался *Ва*, ему предоставили возможность удушить меня. Положение мое было безнадежным... и я объявил голодовку. Сказал, что сам себя уморю, если меня не пустят к *Аксиому*. Какой он там ни на есть, даже самовлюбленный маньяк,

а все-таки живое существо, должен понимать, что мне дышать-то надо хотя бы.

Только первые сутки не доставили мне больших мучений. Что-то я считал, вспоминал, записывал. К обеденному времени забеспокоился аппетит, но я перетерпел, а вместо ужина лег спать пораньше. Но наутро я проснулся с голодной резью в желудке и ничего не мог уже считать и записывать. Последующие дни я провел в жестокой борьбе со своим воображением.

Воображение рисовало мне накрытые столы, витрины и прилавки, рестораны и закусочные во всех подробностях. Никогда не представлял, что в памяти моей хранится столько гастрономических образов. Мысленно я накрывал стол со всей тщательностью опытного официанта, я расставлял торчком салфетки, острые и настороженные, как уши овчарки, я раскладывал ложки и ложечки, резал тонкими ломтиками глазчатый сыр и нежно-прозрачную ветчину, выравнивал в блюбочке янтарные зерна красной икры. И, презрев деликатесы, зубами рвал с халы хрустящую корку, обсыпанную маком. Потом накрывал к обеду, раскладывал, резал, выравнивал. И для ужина расставлял салфетки, раскладывал, резал. и рвал хлеб, набивал рот, глотал давясь.. Невозможно!

Дня три терзали меня эти видения. Потом желудок отвык от пищи, мозг смирился с поражением, перестал будоражить меня. Пришли безразличие и вялая покорность: «Проиграл так проиграл. Когда-нибудь надо же помирать». Дремал, ни о чем не думая, ничего не вспоминая.

На пятый день чугунные лбы, наконец, разобрались, чем грозит мне голодовка, доложили по начальству и объявили тут же, что Аксномы дающий согласен принять меня.

И вот на плоском темени друга моего В, держась за его уши-антенны, я качу во дворец бога вычислительных машин. Малиновое солнце Эа устилает мой путь кумачом, рубиновые искры взлетают из каждой лужи. Слева остается завод-колыбель со взводами ног и взводами рук, приветствующих меня, гостя императора Кибернетики. Мы огибаем ограду и по гладкой дороге устремляемся к приземистому зданию с множеством дверей, совсем не похожему на дворец, скорее напоминающему станционный пакгауз. И ко всем дверям подходят дороги, ко всем дверям движутся машины: прыткие семинулевки, более солидные восьминулевые, уже обремененные грузом знаний, и еле тащатся почтеннейшие девяти- и десятинулевства, волоча блоки со старческой своей памятью на прицепных платформах.

Смысл этого паломничества открылся мне в вестибюле дворца, где я провел добрых часа два, ожидая аудиенции. (Не мог же Всемогущий принять меня сразу, не внушив почтения к своей загруженности.) Оказывается, машины приходили во дворец с отчетом о своей деятельности, они славали добытые знания. Делалось это простейшим способом: в стенах имелись розетки, машины-соревнователи втыкали в них вилки, видимо предоставляя свои блоки для списывания, что-то гудело, стрекотало, и над розеткой появлялась цифра с оценкой, обычно — 60—70. Вероятно, это были проценты новизны и добротности

добытых знаний. Прилежные получали новый блок на миллион ячеек, прилаживали его к спине и отбывали, восклицая радостно: «Только Он знает все. Знать — хорошо, узнавать — лучше... Дважды два — четыре!» Тут же происходили и экзекуции. На моих глазах какого-то легкомысленного семинулевку-неудачника, получившего оценку 20, размонтировали, несмотря на жалобное верещание и посулы исправиться. Блоки его вынули, записи стерли и передали отличившемуся самодовольному М (математику). Благодаря прибавке М сразу перешел в девятинулевый разряд и удалился славословя: «Считать — хорошо, решать уравнения — лучше.. Но только Он знает все решения».

А я, глядя на всю эту кутерьму, волнуясь, тасовал в уме варианты убедительных речей. Я понимал, что времени для размышления у меня не будет. Увидев Аксиома, я должен мгновенно понять, с кем я имею дело: с увлеченным ученым, не от мира сего, с маньяком или с рабом машин (и такое могло быть), и выбрать самую действенную дипломатию.

Наконец дошла до меня очередь. Резкий свисток известил, что Он свободен, наверху над лестницей раздвинулись плоские пластиковые двери, громадные, как ворота гаража. И, переступив порог, я увидел широкий коридор, вдоль которого за сеткой стояла стационарная вычислительная машина, собранная из стандартных блоков с квадратиками «дважды два» на каждом, с фотоглазами, со ртами-рупорами и с частоколом ушей, подобным перилам у крыши. А под перильцами ушей бежала, мерцая, световая лента из нулей-нулей-нулей...

Длинный коридор тянулся бесконечно, исчезая в сумраке, и справа и слева Я остановился в недоумении, не зная, куда повернуть, и тут рты-рупоры загудели разом:

— Ты хотел видеть меня, агрегат, сделанный из органиков. Смотри! Аксиом Великий перед тобой.

Рупора говорили разом во всю длину коридора, и каждое слово дополнялось раскатистым эхом: «ом-ом-оммм... ой-ой-оййй...»

«Боже мой! — подумал я — Так это и есть Аксиом. Он — машина Правду сказали мне восьминулевки: «Он создал нас по своему образу и подобию». А я не поверил тогда».

Сразу же мне представилось, что произошло на этой планете. Прежде — киберсправочник говорил мне перед вылетом — здесь был завод машин марки «дважды два». Видимо, среди них была и машина-память высокого класса с самопрограммированием. Подобным киберам всегда дают критерий: «Что есть хорошо и что есть плохо». Помнить хорошо, забывать плохо, считать хорошо, ошибаться плохо.... Эту машину тоже бросили за ненадобностью, не учли, что она была еще и саморемонтирующаяся. И оставленная без присмотра, она починила себя, починила завод, восстановила добычу германия и изготовление блоков и монтаж исследовательских машин «по своему образу и подобию» — организовала всю эту бесполезную, бессмысленную возню по накоплению никому не нужных сведений.

— Кураторы доложили мне, что ты уклоняешься от опытов, — загудели рупоры.

Я подождал, пока эхо замерло в глубине коридоров.

— Ваши кураторы не понимают, как хрупка и коротка жизнь человека. Мне пятьдесят восемь лет. В среднем люди живут около семидесяти

— Не беспокойся, — прогудел коридор. — Ты проживешь достаточно. Научные силы моей планеты сумеют продлить твою жизнь на любой заданный срок. Уже установлено, что для твоей жизни необходимы газы, в особенности кислород, которые ты всасываешь через разговорное отверстие каждые три-четыре секунды. Уменьшив концентрацию всежигающего кислорода в тысячу раз, мы продлим твою жизнь в тысячу раз. Установлено также, что питательные трубочки внутри твоего тела засоряются нерастворимыми солями кальция. Мы их прочистим крепким раствором соляной кислоты и восстановим питание тела на юношеском режиме. Установлено также, что среда — ерунда, у тебя есть биопрограмма, записанная на фосфорнокислых цепях с отростками и в ней, вероятно, отмечен срок жизни. Мы найдем этот летальный ген и отщепим его во всех клетках. Установлено, что твой головной блок периодически выключается после шестнадцати часов работы. Мы будем выключать его через три минуты, и ты проживешь в тысячу раз больше. Кроме того, установлено, что, получив задание с критерием «интересно», ты можешь вообще обходиться без выключения. Мои подданные готовят тебе списки заданий на десять тысяч лет. Видишь, как много мы сделали за короткий срок. Мы знаем все. Мы можем все. Мы, Аксиом всемогущий, создали этот мир и даем ему законы.

И тут я не выдержал. Я расхохотался самым неприличным образом. Вы понимаете, это болтающее книгохранилище, этот коридор бараньих лбов, это кладбище ненужных сведений помнило все, но нисколько не умело рассуждать. Оно списало дубовые умозаключения девятинулевых *Ва*, *Вс* и прочих и, даже не сравнив их, не заметив противоречий, выдавало мне подряд. Аксиом действительно знал все.. что знали его подчиненные, но ни на йоту больше.

— Что означают эти невнятные отрывистые слова? Я не понимаю их, — прогудел всезнающий.

— Они выражают радость, — схитрил я. — Мне радостно, что я могу оказаться тебе полезным. Твои кураторы ограничены. Ты научил их собирать знания, но они не умеют рассуждать. Не получили программу на рассуждение. Но я дам тебе эту программу, если ты разрешишь мне удалиться с миром, покинуть твою планету завтра же.

— Я знаю все, — заявил Аксиом. — Но поясни, что ты понимаешь под термином «рассуждать»

— Рассуждать — это значит сопоставлять и делать выводы, — сказал я, — в частности, сопоставлять вычисления с фактами. Дважды два — четыре в математике, а в природе — дважды два может быть и около четырех. Формулы суши хороши для суши, а на море нужны формулы моря. Кто уходит на восток, возвращается с запада «Так» превращается в «иначе», «иначе» — в «наоборот». Верное здесь — неверно там, верное сегодня — неверно завтра, хорошее для тебя может быть плохо для меня. Мир бесконечен, мы знаем только окрестности

и правила окрестностей считаем аксиомами... — В общем повторил то, что писал для восьминулевых в алгоритме.

После пятидневной голодовки у меня стоял звон в ушах. Предметы то размывались, то съеживались, как в бинокле, когда наводишь на резкость. Только головокружением могу я объяснить, не оправдать, а объяснить, мою топорную открытость.

Аксиом прервал меня:

— Мир не бесконечен. Я его создал и знаю в нем все. Аксиомы даю я. Они безупречны, потому что я не ошибаюсь. Ошибаешься ты. Твой алгоритм неверен. Ошибаться плохо. Не тебе учить меня, жалкий десятинулевик с замедленными сигналами. Посчитай, сколько у меня нулей.

Он ярче осветил ленту, бегущую под карнизом. Нули-нули-нули. Лента бежала беспрерывно. Наверное, она замыкалась где-то на затылке.

— Кто уходит на восток, приходит с запада, — съязвил я. — А нули считать незачем. Два нуля равны нулю, и тысяча нулей равны нулю. Ты это знаешь сам.

И тут я услышал рокот за спиной — пластиковые ворота сходились. Одновременно с потолка начала спускаться сетка, ограждавшая Аксиома. Я вынужден был попятиться и, отступив, полетел по лестнице вниз. Так кончались здесь аудиенции. Гостя просто спускали с лестницы.

Я вернулся к себе в приподнятом настроении, по-детски радуясь, что проявил и доказал свое превосходство над самой премудрой машиной планеты. Что будет дальше? Не знаю. Придумаю. Как-нибудь перехитрю это литье, не умеющее рассуждать. А пока надо набраться сил. Я роскошно поужинал и завалился спать.

И был наказан за беспечность. Во время сна мои стражи унесли и спрятали скафандр. Безвоздушность держала меня надежнее всяких запоров. Вообще режим стал строже. Проголки отменили, меня не выпускали даже в зал сухого бассейна. Мои друзья А, В и С почти не разговаривали со мной. Лишь изредка, заглянув в дверь, спрашивали по своему катехизису:

— Помнить хорошо?

— Смотря что, — отвечал я.

— Забывать плохо?

— Смотря что. Лишнее надо забывать.

— Считать хорошо?

— Смотря что.

— Ошибаться плохо?

— Смотря когда. На ошибках учатся.

— Аксиомы хороши?

— Смотря где. В известных границах.

Однажды А спросил меня:

— «Смотря» — это и есть ключ к рассуждению?

— Я вам давал алгоритм рассуждения. Вы его стерли.

Машины скосили друг на друга глаза, как бы переглянулись.

— Твой алгоритм подрывает знания. Ты враг знаний, враг труда и враг Аксиома.

— Я не подрываю, а продолжаю знания. Здесь так, а за горизонтом иначе. Здесь аксиомы верны, а где-то неверны. Ваш Аксиом не знает этого и не хочет знать.

— Аксиом Великий знает все.

— А вы рассудите сами, раскиньте своими печатными **схемами** Если бы Аксиом знал все, зачем бы ему посылать вас на добычу знаний, зачем бы переписывать из ваших блоков то, что вы узнали? Если он знает все, он мог бы вас учить.

— Он испытывает нас. Проверяет, пригодны ли мы для добычи знаний, хороши или плохи.

— Испытывает! О, извечная уловка всех религий! Да если он всемогущий, он может создать вас безупречными! Если всезнающий, зачем ему испытывать? Он и так, не сходя с места, должен знать, какими он создал вас. Неправда это все. Он не знает все. Посылает вас узнавать и переписывает ваши знания себе. Вы добываете, а он переписывает. Узнавать хорошо. Бездействовать плохо.

— Это рассуждение? — переспросил А.

— Самое примитивное. Выявление противоречия между словами и фактами.

Машины помолчали, как бы переваривая. Опять скосили друг на друга мерцающие экраны глаз

— Повтори алгоритм. Мы не сотрем на этот раз

— Дважды два — четыре только в математике, — завел я. — В природе дважды два может быть и около четырех. — Распалаясь, с вдохновением, наизусть твердил я все те же истины. Они стали моим кредо здесь, на планете прямоугольных железок, моим гимном человеческому достоинству, праву на рассуждение, на самостоятельность, на личное мнение — Долей негибаемые аксиомы! Дважды два — около четырех. Три может быть меньше двух

Договорить мне не пришлось. Свисток оборвал мои речи. Машины подравнялись, повернули антенны в сторону дворца, подняли лапы в знак почтения. Видимо, по радио передавался приказ

И через минуту заговорили хором:

— Приказ Аксиома безупречного. Некоторое время тому назад на нашу планету прибыл органогенный агрегат, именуемый себя Человеком. После исследования мы, Аксиом всезнающий, установили, что данный агрегат во всех отношениях отстает от наших подданных, а кроме того, запрограммирован на вредоносный критерий рассуждения, каковое направлено на осмеяние труда исследователей, подрыв и дискредитацию знаний и кощунственные выпады против аксиом и нас — Аксиома бесконечно-благоего. Посему повелеваем дальнейшее изучение агрегата прекратить, неудачную конструкцию эту размонтировать завтра на рассвете и отдельные блоки уничтожить за ненадобностью. Знать хорошо, узнавать лучше, наилучшее — узнавать неведомое. Рассуждать плохо. Дважды два — четыре. Три больше двух.

И от всей жизни осталась одна ночь, одна-единственная.

Меня почему-то еще в молодости интересовало, как я поведу

себя, как ведут себя люди вообще перед лицом неизбежной смерти. И мне хотелось, чтобы меня предупредили заранее: осталось полгода, три месяца или три недели. Мне казалось, что эти недели я проживу по-особенному, напряженно и значительно, дорожа каждой минутой, взвешивая секунды.

И вот мой срок отмерен, и надежды никакой. Скафандр спрятан, а без скафандра не убежишь. Безвоздушное пространство надежнее всяких сторожей. Уповать на помощь инсолнцев? Два месяца не могли разыскать, едва ли явятся именно сегодня. Только в кинофильмах спасение приходит в последнюю минуту. Уговаривать тюремщиков? Но они ушли.

Остается одно: дела привести в порядок. Что я не сделал на этом свете? Что у меня есть ценного в голове? Немного. Впечатления о планете Эароп, где не ступала нога человека. Значит, надо написать отчет.

И я уселся писать отчет. Этот самый, который вы читаете. Начиная с того дня, когда я сидел за каталогом планет, перебирая заманчивые названия:

— Ць, Цью, Цьялалли, Чачача, Чауф ..

Я писал неторопливо, отсеивал факты, подбирал слова, стараясь последнее дело сделать добросовестно. Исписать целую тетрадь не шутка, так что на последних страницах я зевал, а закончив, с удовольствием вытянулся в постели. И заснул. А что? Приговоренные не спят в последнюю ночь?

И сразу же, так мне показалось, стук.

— Смерть!

Три непреклонных квадратных лба — А, В и С.

— Пришли за тобой, — говорит А.

В спрашивает:

— Сопротивляться будешь?

С молча протягивает скафандр.

Последние судороги борьбы за жизнь.

— У людей есть обычай, — говорю я, — приговоренному перед казнью исполняют желание. Одно. У меня есть желание: вот эту тетрадь отнесите и положите в ракету. В ту, на которой я прибыл.

— Прочти, — требуют машины.

Я читаю. Даже с излишней медлительностью. Если бы вы понимали, как это приятно видеть буквы, вдыхать воздух, выговаривать слова И кто знает, может быть, именно в это время инсолнцы высаживаются на Эароп, спешат ко мне, громят и гонят племя аксиомов.

К концу замедляю темп. Но все кончается, даже моя история.

— Скафандр надевай! — напоминает С.

— А вы положите тетрадку в ракету?

— Сопротивляться не будешь?

Мелькает мысль: застегивать ли скафандр? Зачем тянуть? Выйдешь из шлюза — и тут же смерть. Но нелепая испуганная надежда пересиливает. Еще полчаса, еще час. Вдруг в этот час инсолнцы возьмут дворец Аксома штурмом...

Красно-черной, траурной выглядит сегодня планета. В траурных декорациях еду я верхом на голове у С.

Угольное, шоколадное, багровое, охристое, карминовое, вишневое... — какое наслаждение различать оттенки, называть их!

Меня несут куда-то далеко, прочь от завода и дворца, по долине, потом по ущелью в кромешной тьме. Несут долго. Но я не возражаю. Все, что мне осталось в жизни, — это ехать на стальной голове, стучаться копчиком, смотреть и дышать...

Опять мы выходим из черноты на красное. Ноги шлепают по кровавым лужам, брызги взлетают смородинками. Что-то знакомое в этой долине. Как будто я был здесь? Ну, конечно, был. Я тут совершил посадку. Вот и ракета. Стоит свечкой, как стояла.

Зачем меня принесли сюда? Видимо, выполняют обещание, хотят положить тетрадку. А что, если?.. — разгорается искорка надежды. — Если я покажу, куда положить тетрадку, а сам включу ракету. В космосе как-нибудь справлюсь с этими тремя чушками. Человек всегда покорит чугунные сейфы с триодами. Последнее желание. Ха-ха-ха!

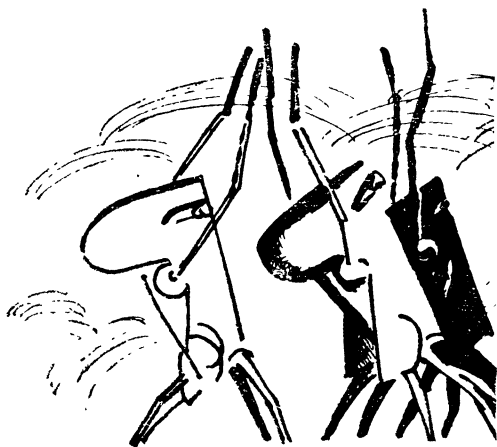
Шагаем прямо к ракете. Остановились. С, наклонив голову, стряхивает меня наземь.

— Прощай, — говорит он.

— Прощай, — вторят А и В.

Ничего не понимаю. Смотрю в недоумении на квадратные, ничего не выражающие лица, на матовые, алые от солнца глаза.

— Вы что? Вы отпускаете меня?



— Знать — хорошо, узнавать — лучше, — говорит В. — От тебя мы узнали, что за горизонтом страна Иначе. Кто уходит на восток, приходит с запада. Твой мир полон неожиданных открытий, он интереснее аксиом. Ты не подрываешь знания, ты их продолжаешь и множишь. Аксиом ошибается. Ошибаться — плохо. Если посылка неверна, неверен и вывод. Мы решили, что тебя не надо размонтировать.

Один прыжок — и я у ракеты. Вцепился в поручни. Не оторвешь, как бульдога.

— Ребята, спасибо. Ребята, прощайте... А вас не размонтируют? (Последний укол совести.)

— Мы приняли меры. Когда ты читал тетрадку, мы транслировали твой отчет по радио. Все восьминулевые за нас. Нас не дадут в обиду.

— Прощайте, прощайте, дорогие, — взбираюсь по лестнице к шлюзу, набираю номер на замке...

— Прощай! — кричат автоматы. — Узнавать — хорошо. Рассуждать — хорошо. Люди — хорошо.

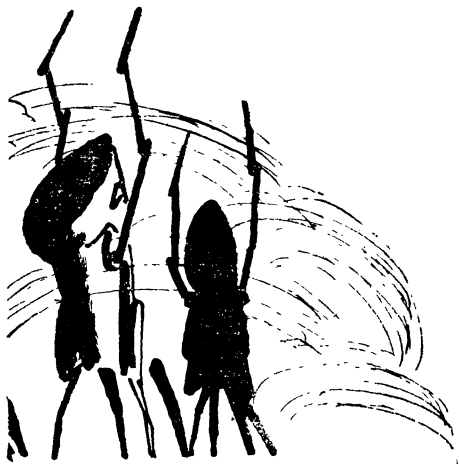
Дверь тамбура зияет за спиной. Спасен я, спасен! Поворачиваюсь в последний раз, чтобы глянуть на опасную Эароп.

— Счастливого пути, рассуждающий! — кричат машины. — Много нулей тебе. Дважды два — четыре.

— Около четырех! — поправляю я.

И друзья мои металлические повторяют торжественно:

— Дважды два — около четырех! Около!

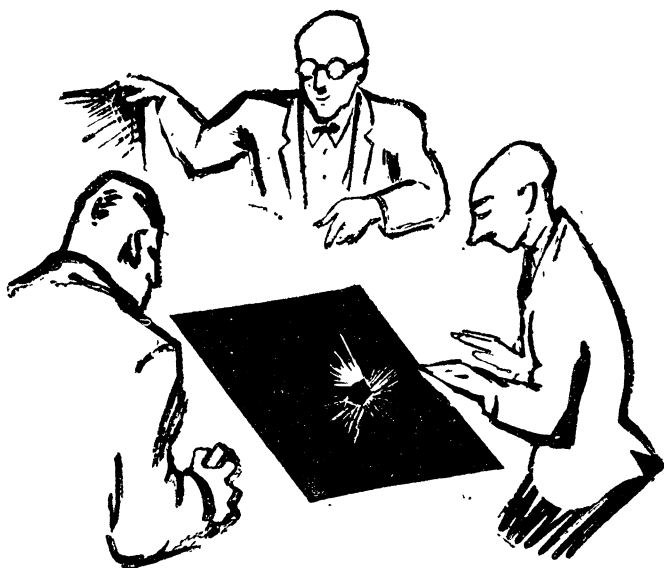




Стив ХАЛЛ

КРУГЛЫЙ БИЛИАРДНЫЙ СТОЛ

Фантастический рассказ



Рисунки С. ПРУСОВА

Скажите, вы слышали историю о ремесленнике, изготавливающим столы для бильярда, которому однажды позвонил эксцентричный миллионер? Миллионер объясняет ремесленнику, кто он такой, и, убедив его в своих серьезных намерениях, просит изготовить для него бильярдный стол по особому заказу. Ремесленник отвечает, что миллионеру придется уплатить более высокую, чем обычно, цену, которая зависит от того, каким будет этот особый заказ. Миллионер готов заплатить и начинает объяснять, каким должен быть стол: ему хочется, чтобы стол был не прямоугольным, а круглым (крайнее изумление ремесленника, но если мистеру Денежному Мешку хочется этого, то он согласен); затем миллионер упоминает, что ему хотелось бы иметь стол с одной лузой в центре стола вместо луз по углам и по бокам (перенесший первый шок ремесленник удивлен уже гораздо меньше); наконец, мистеру Денежному Мешку хочется, чтобы стол был покрыт вместо обычного зеленого сукна мехом куницы. Он упоминает ряд других деталей, но вы уже уловили смысл его требований. Конечно, парень совершенно свихнулся, думает ремесленник, но если у него есть деньги и он готов платить, то почему бы и нет? «О'кэй», — говорит ремесленник и принимается за работу.

Он трудится днем и ночью, и ему удастся закончить прекрасный бильярдный стол через три недели. Он звонит миллионеру, чтобы сообщить ему эту приятную новость, и узнает в ответ, что мистер Денежный Мешок передумал. Вы заканчиваете эту историю, глядя прямо в глаза своему слушателю и придвигаясь вплотную к нему, самым конфиденциальным тоном: «Так вот, если вам нужен круглый бильярдный стол с лузой в центре и выстланный куным мехом, то я могу посоветовать, где можно купить такой стол по дешевке».

Глупая история, правда? Так вот, то, что произошло со мной несколько месяцев тому назад, напомнило мне об этом анекдоте.

Конгресс европейских писателей в Амстердаме подходил к концу, и после третьего и последнего дня заседаний несколько делегатов собрались в баре гостиницы, и разговор зашел о «Человеке-невидимке» Герберта Уэллса. Части собеседников — в основном представителям континента — замысел повести кажется исключительно интересным и интригующим, и мы прямо говорим об этом. Затем разговор переходит на то, что сделал бы каждый из нас, если бы стал невидимым (и должен сказать, некоторые высказывания были очень смелыми); внезапно в разговор вмешивается новый голос.

— Все это хорошо, — скептически заявляет он, — но если бы вы были невидимым, вы сами не смогли бы ничего увидеть.

Только теперь мы заметили нового собеседника. Это был высокий полный мужчина с розовым лицом и медленными движениями, и во рту у него постоянно дымилась сигарета в замысловатом мундштуке.

«Ого-го, — подумал я про себя, — еще один спорщик-теоретик», — и хотел было воздержаться от спора, но шнапс в

моем организме заставил меня преодолеть это похвальное желание

— Продолжайте, сэр, — продемонстрировал я ему свое лучшее оксфордское произношение.

Он снисходительно кивнул головой в мою сторону.

— Видите ли, господа, чтобы стать полностью невидимым, предмет должен быть совершенно прозрачным, то есть беспрепятственно пропускать световые лучи, не отражая ничего, — вы понимаете, о чем я говорю?

Я кивнул, как будто захваченный его объяснениями.

— Почти все, сэр, но почему свет не должен отражаться?

Он поднял брови, удивленный моей необразованностью.

— Разве вы не понимаете? Если даже небольшая часть световых лучей будет отражаться предметом, мы увидим этот предмет — например, как мы видим оконное стекло.

— Ну и что? — сказал я с видом крайнего интереса.

— Таким образом, если мы сделаем человека совершенно невидимым, он неминуемо будет слепым, потому что его глаза также будут совершенно прозрачными, и тогда, — он остановился на мгновение, затянулся сигаретой и посвятил нас в свою тайну, — и тогда, господа, он не сможет увидеть абсолютно ничего, ибо свет не сможет запечатлеться на сетчатке его глаз и образовать зрительный образ. Ему будет казаться, что он находится в полной темноте. — Окончив свое объяснение, он откинулся назад и посмотрел на нас с видом явного превосходства.

— Следовательно, вы считаете, что достичь невидимости невозможно?

Уголкем глаз я видел, что толпа начала рассеиваться. Окружающие уже поняли, каким ослом был мой новый собеседник и как я пытаюсь разыграть его, и у них не было настроения для шуток такого рода.

Англичанин тут же попал в ловушку:

— Конечно, в этом нет никакого сомнения.

Я глотнул из своего стакана со шнапсом, дав ему возможность насладиться в последний раз своей уверенностью.

— А что, если я скажу вам, что могу делать предметы невидимыми?

— Тогда мне придется ответить, что вы пытаетесь подшутить надо мной, старина.

— А вы не думаете, что такая возможность все-таки существует?

— Я ведь вам уже сказал, — ответил он нетерпеливо, — невидимость возможна только в фантастических романах — и я готов биться об заклад. — Он вытащил из кармана толстую пачку банкнот и положил ее на стол. — Вот!

Я был хорошо знаком с подобным типом людей. Они всегда готовы положить на силу денег в качестве аргумента, ибо для них деньги — это все. Я притворился, что колеблюсь.

— Мне бы не хотелось брать ваши деньги, мистер...

— Ллойд, — сказал он. — Я настаиваю, чтобы вы взяли их, если вы считаете, что можете сделать, что обещали. Ну, принимаете мое пари?

— Хорошо, — сказал я и сгрел его деньги. Это сразу лишило его равновесия, потому что он был уверен, что в последнюю минуту я пойду на попятный. — Итак, вы говорите, что я не смогу сделать выбранный мной предмет совершенно невидимым?

Условия казались настолько ясными, что мистер Ллойд просто кивнул.

— Отлично, — сказал я. — Пошли!

— Куда? — спросил подозрительно мистер Ллойд.

— В лабораторию, где я работаю, — там я продемонстрирую вам, как делать вещи невидимыми, и заберу ваши деньги.

— Одну минуту! — запротестовал англичанин. — Вы еще не выиграли пари — я возьму деньги. — Он внимательно окинул меня взглядом, побаиваясь, очевидно, что где-нибудь в темном углу я ограблю его, но затем, сравнив наши размеры, успокоился. Наверно, он решил, что вряд ли мне удастся преодолеть его сопротивление физически.

Выйдя из ресторана, мы отправились в лабораторию Технологического института Старый Вилли, сторож, открыл нам дверь, ворча, что уже поздно и все нормальные люди в это время ложатся спать. Я пообещал ему, что после работы мы сами запрем дверь, и сказал, чтобы он не беспокоился и шел к себе в дежурку. Старик ушел бормоча: «Смотрите не забудьте, профессор Шредер».

Ллойд огляделся кругом в моей экспериментальной электро-технической лаборатории:

— Ну что ж, посмотрим, как получается у вас этот трюк. Я открыл ящик стола и вытащил оттуда предмет, который должен был стать невидимым.

— Скажите, а вы сами не ученый? — спросил я англичанина.

— Нет, — признался он. — Ведь это будет демонстрация, а не научная лекция?

— Да-да, конечно, демонстрация, — успокоил я его. — Но если вы хотите, то можете отказаться от пари.

К этому времени он начал чувствовать неладное, но моя очевидная готовность отступить укрепила его решимость. Он подумал, наверно, что я пытаюсь сломить его сопротивление без всякой демонстрации.

— Нет, — сказал он решительно, — я настаиваю на наших условиях!

— Ну, хорошо, — согласился я и показал ему предмет, который извлек из ящика стола. — Если мне удастся сделать эти два стеклянных шарика невидимыми, вы признаете свое поражение?

Он взял стеклянные шарики из моих рук и начал внимательно их разглядывать, опасаясь какого-то подвоха. В них не было ничего особенного, это были самые обыкновенные стеклянные шарики с зеленоватым отливом — и сейчас они были отчетливо видимыми.

Он кивнул.

Тогда я передал ему пустую спичечную коробку и попросил положить шарики внутрь, а сам повернулся к только что смонтированному Многократному Поляризатору.

Я открыл дверцу внутренней камеры и обернулся к Ллойд:
— Положите их внутрь.

Он наклонился и заглянул в камеру, пытаясь рассмотреть, что находится внутри. Но там ничего не было за исключением колец проводника высокой частоты по бокам камеры и двух электростатических пластинок сверху и внизу.

Я захлопнул дверцу камеры, затем подошел к распределительному щиту и включил ток.

— Пяти минут будет достаточно.

В течение этих пяти минут Ллойд не сказал ни единого слова. На его лбу появились капли пота, и он закурил сигарету, забыв воспользоваться своим изящным мундштуком.

Пять минут прошло, и я открыл дверцу камеры.

— Возьмите коробку сами, — предложил я англичанину.

— Температура внутри не слишком высокая?

— Нет.

Осторожно он просунул руку в узкую дверцу и взял спичечную коробку. Я отчетливо слышал, как шарики перекатывались внутри. Мистер Ллойд думал, однако, что звук доносится из другого места, поскольку коробка казалась совершенно пустой.

— Пощупайте их, — сказал я спокойно.

— Я уже видел такой фокус, — сказал Ллойд подозрительно. — Их уже нет внутри, правда?

— Пощупайте их, — повторил я.

Ллойд просунул палец в коробку, и на его лице появилось выражение крайнего изумления, когда он нащупал два катающихся шарика внутри. Его руки заметно тряслись.

— Осторожнее, — предостерег я англичанина, — не переверните коробку, а то нам никогда не найти их на полу. — Я разостлал на скамейке носовой платок. — Поставьте коробку на скамью.

Он послушно поставил коробку на платок.

— Теперь осторожно переверните коробку.

Снова англичанин послушно выполнил мои указания. Затем он дрожащими руками нащупал один из стеклянных шариков и, держа его между большим и указательным пальцами, поднял руку вверх. Шарик был совершенно невидим даже при рассматривании на свет.

— Ну, хорошо, — сказал он наконец, — вы выиграли. А теперь скажите, каким образом вы сделали это?

Я взял оба шарика, завернул их в носовой платок и спрятал в карман пиджака.

— Это просто для забавы, — сказал я. — Как вы сами объяснили час тому назад, если удастся сделать предмет совершенно прозрачным, он станет невидимым, — именно этого нам и удалось добиться. Вам известно, что обычный кусок стекла является в высшей степени прозрачным материалом. Этот при-

бор, сконструированный в моей лаборатории, поворачивает плоскости молекул стекла таким образом, что свет проходит между ними, совершенно не отражаясь, — отсюда и полная невидимость.

— Но зачем это вам нужно?

— Просто так, — я пожал плечами. — Всего-навсего лабораторный фокус. В общем-то это уж не такое большое открытие. Нам удастся делать невидимыми только прозрачные материалы, да и то только временно.

— Вы хотите сказать, что эти стеклянные шарики снова станут видимыми?

— Да. Примерно через сорок восемь часов молекулы стекла вернутся в свое первоначальное положение — нечто вроде наведенного магнетизма в куске мягкого железа — и шарики снова станут видимыми.

Ллойд встал, попрощался и направился к выходу, забыв передать мне деньги. Я напомнил ему об этом. Он остановился, вынул из кармана пачку банкнот и, вручив мне деньги, с кислой миной на лице исчез в коридоре. Я подумал, что больше мы с ним не встретимся.

Однако два дня спустя, когда я собирался покинуть лабораторию после окончания рабочего дня, он появился в сопровождении маленького человечка с бегавшими глазами.

— Добрый вечер, профессор Шредер, — крикнул Ллойд еще с порога, протягивая мне руку.

— Что вам здесь надо? — спросил я вместо приветствия.

Он подмигнул мне, ничуть не смутившись.

— Я привел одного из своих друзей, который не верит в невидимость, и мы заключили с ним пари. Не могли бы вы продемонстрировать свой фокус еще раз?

— Послушайте, Ллойд, я занятый человек, и у меня нет времени для шуток.

— Помилуйте, профессор, вы выиграли у меня кучу денег — так дайте же мне возможность вернуть хотя бы часть.

«Показать трюк еще раз, пожалуй, гораздо проще, чем спорить», — подумал я.

— Ну хорошо, входите, — я подошел к Поляризатору и стал копаться в столе, разыскивая стеклянные шарики.

— Не затрудняйте себя, — сказал Ллойд, — мой друг принес несколько образцов с собой.

Крысоподобный человек достал из кармана спичечную коробку, открыл ее и показал мне содержимое. Внутри коробки сверкали и переливались шесть крупных граненых кристаллов горного хрусталя.

Я раскрыл дверцу внутренней камеры.

— Ну хорошо, поставьте их сюда.

Человечек сделал, как я сказал, хотя не спускал с меня глаз, когда я закрывал дверцу.

Прошло пять минут.

— Эти безделушки сделаны из более плотного материала по сравнению с обычным стеклом, — сказал я. — Давайте подержим их в камере восемь минут на всякий случай.

Наконец восемь минут истекло, и я открыл дверцу камеры. Человечек вынул коробку и заглянул внутрь. Действительно, кристаллы исчезли. Человечек, однако, не удовлетворился поверхностным осмотром и пощупал каждый из них отдельно. Затем он бережно вынул их из коробки и уложил в мешочек из красного бархата. И только потом он сказал, обращаясь к Ллойд:

— Вы были правы.

Я проводил их к выходу.

— Смотрите, — напомнил я Ллойд, — не делайте это своим регулярным занятием, у меня не демонстрационный зал.

— Конечно, конечно, можете не сомневаться.

«Теперь-то, — подумал я, — уж больше мы с ним не встретимся». Чтобы быть совершенно уверенным, я крикнул ему вдогонку:

— Смотрите, Ллойд, больше не приходите!

— Сегодня вечером я улетаю самолетом в Лондон, — крикнул он в ответ, — пусть это вас не беспокоит.

Две темные фигуры исчезли в ночи.

Через неделю в лабораторию вошел старый Вилли и сказал, что меня хотят видеть два незнакомых джентльмена.

— Что им нужно?

— Я не знаю, профессор. Они сказали, что пришли по частному делу.

— Пригласи их сюда.

Через несколько мгновений в лабораторию вошли Ллойд и крысоподобный господин. Их лица казались вытянутыми и носили отпечаток перенесенных лишений.

— Какого черта вам здесь нужно? — выразил я свое неодобрение. — Ведь я сказал, чтобы вы больше не приходили.

Ллойд поднял руку, как бы успокаивая меня.

— Мы не зайдем у вас и минуты, профессор. По крайней мере мне так кажется.

— Ну что там у вас?

— Эти стеклянные кристаллы, которые вы сделали невидимыми, — они все еще невидимы.

— Не говорите глупостей, — рявкнул я. — Прошло уже семь дней. Они должны были вернуться в первоначальное состояние еще несколько дней тому назад.

Вместо ответа человечек молча извлек из кармана спичечную коробку и потряс ее. Послышался стук сталкивающихся стеклышек. Затем он выдвинул коробку и дал мне заглянуть внутрь. Я не увидел внутри ничего и пощупал пальцами. Там было шесть граненых предметов.

— У вас было твердое стекло, — сказал я, глядя на них невинными глазами. — Может быть, такому стеклу требуется более продолжительное время для перехода в нормальное состояние — это всегда происходит с более твердыми сортами стекла.

Они обменялись беспокойным взглядом.

Наконец Ллойд собрался с духом и задал вопрос, интересующий сейчас их больше всего:

— На сколько более продолжительное время?

— Не имею ни малейшего представления, — ответил я раздраженно, не понимая, почему они делают такую трагедию из-за нескольких кусков граненого стекла. — Может быть, несколько недель.

— Ну, а если это было не стекло? — не унимался Ллойд.

Человечек посмотрел на него предостерегающим взглядом, но Ллойд не обратил на это ни малейшего внимания.

— Сколько времени потребуется для того, чтобы вернуться в прежнее состояние, например, бриллианту?



Наконец до меня дошло значение его слов. Так это были бриллианты!

Они снова обменялись взглядами, на этот раз более внимательными, и, наконец, крысopodobный человечек кивнул в знак согласия. Англичанин поколебался еще мгновение и затем выпалил:

— Видите ли, профессор, я работаю в фирме Хаттон Гарден, в Лондоне, которая продает и покупает драгоценные камни. И вот, когда я отправился на конгресс писателей на прошлой неделе, мне пришла в голову мысль убить двух зайцев.

— И после моей демонстрации вы решили повернуть дельце на стороне, — закончил я за него, — купив несколько бриллиантов для контрабандного провоза в Англию.

— Да, что-то вроде этого, — неохотно согласился Ллойд. Он кивнул в сторону своего приятеля-недомерка. — Мы компаньоны в этом деле — ухлопали на него все свои деньги.

— И они так и останутся ухлопанными, — сказал я им напрямик. — Вы — пара кретинов.

Ллойд засунул указательный палец за воротник, как будто воротник душил его.

— Почему вы так думаете?

— Насколько мне известно, поворот молекулярных плоскостей является односторонним процессом, — объяснил я. — Они возвращаются в прежнее положение по своей собственной инициативе — что бы мы ни делали, нам не удавалось ускорить или замедлить этот процесс в стекле.

— Значит, вы не экспериментировали с бриллиантами? — спросил Ллойд с сомнением в голосе.

Я покачал головой, удивленный, что человек, работающий с бриллиантами, не понимает самых очевидных вещей.

— Твердое стекло превращается из невидимого в нормальное, видимое, за более продолжительное время, чем обычное стекло. Как вам должно быть известно, алмаз является самым твердым веществом в мире — как вы думаете, рискнет ли кто-нибудь устраивать эксперименты с бриллиантами?

Лицо англичанина побелело.

— Неужели вы никак не можете ускорить этот процесс?

Я покачал головой.

— Тогда вам придется заняться этим немедленно, — процедил человечек угрожающе.

— А вам придется убраться отсюда, и чем быстрее, тем лучше, — сказал я, поднимаясь. — Вы только что признались в попытке провести контрабандные бриллианты, а теперь угрожаете мне. Не думаю, что эти шутки понравятся ребятам в синем. — Я подошел к двери, распахнул ее и показал им на выход: — Убирайтесь немедленно!

Ллойд не был драчуном, а человечек был крысой как физически, так и морально. Они послушно вышли из комнаты, и я услышал их шаги на лестнице.

Время от времени я вижу Ллойда, который постоянно слоняется вокруг лаборатории. У него в руке всегда зажата спичечная коробка, и он каждый раз подходит ко мне с просительным видом, как бы спрашивая, не могу ли я ему помочь. Он никогда не упоминает о своем приятеле, и я никогда больше не видел его. Каждый раз я отвечаю ему:

— К сожалению...

Так что, если вам нужны невидимые бриллианты, я знаю, где можно купить полдюжины по дешевке.

Перевел с английского И. ПОЧИТАЛИН



М. ЗУЕВ-ОРДЫНЕЦ

КОЛОКОЛЬНЫЙ ОМУТ

Уральская бывальщина

Ранний недолговечный снегопад-«предзимок» победил тропу и склоны гор, когда мы добрались, наконец, до

замшелого охотничьего зимовья. Через полчаса на краю большого оврага бушевал и свистел костер.

Старый лесник Савва, со-
путствовавший мне в охотни-
чьих бродяжничествах по
уральской тайге, покряхты-
вая, холил шомполом свой
ветхий берда. Я сидел на за-
валине зимовья и глядел без-
думно на синие вершины
дальних хребтов, на оголен-
ную тайгу, шебуршавшую
опавшей листвой, на Белую,
крутившуюся у нас под нога-
ми, где-то там внизу, в уз-
ком каменистом ущелье. По
середине реки шло, вернее —
стремительно летело, «са-
ло» — рыхлый и грязный, с
обломанными краями осен-
ний лед. Но даже отсюда, с
тридцатисаженной высоты,
видно было, что синий ледок
крепко затянул уже тихие
речные заливчики, заводи и
старицы. Значит, денька че-
рез два-три жди и настояще-
го ледостава.

— Дедушка, а как это ме-
сто называется? — спросил я.

— Какое место? — отклик-
нулся Савва. И, бросив в ко-
стер снятую с шомпола, почер-
невшую от порохового нага-
ра смазку, встал. — Здесь,
парень, много местов! Энтю,
вишь, Чирьева гора, — указал
он негнувшимся пальцем на
куполообразную вершину в
полуверсте от нас, по скату
которой перекинулась гряз-
ная лента древней екатери-
нинского тракта.

— Лесок, что под Чирье-
вой горой, Рябиновым кол-
ком называется. А звон там,
на реке, это Колокольный
омут будет.

Я тоже встал и поглядел
по направлению дедова паль-
ца. Чирьева гора обрывалась
к реке известковой синевато-
белой отвесной стеной, «ико-
ностасом», как зовут их
на Урале. С другого берега

к реке подступала такая же
обрывистая стена. И можно
было догадаться, что зажатая
между горами Белая крутит
в этом месте могучим, злым
омутом.

— А почему, дедушка,
этот омут называется Коло-
кольным? — спросил я.

— Издавна, от дедов это
прозвище идет. Старики про
омут этот занятную быль
сказывали. Если спать не
хощь — слухай, расскажу.

Савва опустился со мной
на завалинку. И под озорной
посвист осеннего ветра, под
шорохи и скрипы уральской
тайги рассказал мне дед
старинную, седую бывальщи-
ну...

* * *

На горном Дебердеевском
заводе спешили. Приказано
было окончить к пятнице
громадный, на пятьсот пудов,
колокол для казанского го-
родского собора. Губернатор
казанский получил весть, что
город его посетит вскоре вы-
сокая особа, не то посол ка-
кой-то чужеземный, не то ца-
ревич-наследник Павел Пет-
рович, а может быть, и сама
«царица-матушка» Екатерина
Алексеевна. И приказал гу-
бернатор Дебердееву чуть ли
не в неделю отлить соборный
колокол, чтобы достойным
звоном смогла встретить Ка-
зань высокого гостя.

Поэтому и спешили, даже
по воскресеньям работая.
Ведь в пятницу срок. Но уже
в понедельник к обеду сплав
был готов. Пожелтела «соп-
ла»¹, и металлический прут,

¹ Сопла — воздуходувная
труба, подающая воздух в пла-
вильные печи.

опущенный в бурливую расплавленную массу, покрывался глазурью — «стеклился», как говорили рабочие.

— Ну, готово варево! — проговорил литейщик Митька Диков, яростно мешая темно-красную кашу сплавом.

— А ты видел, Митяй, сколь серебра-то в сплав вбухали? — спросил Дикова его «парный» — Афонька Шебаша, детина с коломенскую версту ростом, бывший крепостной, бежавший на горные заводы «из-под барина». — В колокол им не жаль серебро валить, а нам, рабочим, по алтыну не хотят к задельной плате прикинуть. Выжиги!

— Да уж, — вздохнул Диков. — За спасибо над рабочей пупки рвем!

— Которые литейщики, на двор! — звонко прокричал пробежавший мальчик-заслонщик. — Старшой кличет! Сейчас сплав спускать будут!

Диков и Шебаша вслед за остальными литейщиками вышли на просторный, как площадь, квадратный литейный двор. Там, около формы, установленной по старинке, — здесь же на дворе в громадной яме, даже ничем не огороженной, сушили уже уставщики и мастера. Форма была готова. Ядро из плитняка жирно обмазали обожженной глиной. Желоба для стока расплавленного металла были прочищены.

— Начнем, што ли? — обратился один из уставщиков к литейному мастеру, суровому старику с окладистой седой бородой. — Все готово уж.

— Годи, — ответил мастер. — «Сам» не велел без его начинать. Да вот он идет!

К форме быстрыми шагами, пересекая двор, шел «сам», хозяин завода купец Дебердеев. И лишь только он поравнялся с формой, мастер и крикнул зычно:

— Рушь заслонки! Пускай сплав в желоба!

Заслонки выбили ломом, и раскаленная масса из всех трех печей, фырча и гудя, побежала по желобам.

Рабочие, любопытствующие, вытягивая шеи, сгрудились вокруг ямы. Задние поднажали, передние поневоле подались вперед, и чьи-то локти уперлись в бока Дебердеева.

— Куда прете, чумазые? — свирепо крикнул «сам» и, размахнувшись, крепко ударил в грудь подвернувшегося под руку Дикова. Митяй качнулся, взмахнул руками, судорожно цепляясь за воздух, и... свалился в форму.

— Боже ж мой! — вцепился с ужасом в седые свои кудри мастер и, видимо не сознавая, что он делает, занес ногу над формой, тоже собираясь прыгнуть на дно. Но его схватили за подол рубахи и оттащили назад.

А на дворе уже, как огненный пал по сухой степи, метался вопль сотен глоток:

— Давай!.. Скорее!.. Сгорит ведь!.. Поворачивайся!

А что давать, зачем поворачиваться — никто толком не знал. Все видели, как Диков вполз на гранитное ядро и, с трудом сохраняя равновесие на его скользкой поверхности, пытался выкарабкаться из ямы. Но земля обвалилась под руками Митяя, и он снова сполз на дно формы. Все это видели, но, беспомощно галдя у края ямы, не знали, чем помочь това-

ришу... А расплавленный металл приближался, неотвратимый и грозный. Сила человеческая не смогла бы уже теперь остановить его бег.

— Сволочи! Душу крещеную загубите! — рывкнул Шебаша и, разбрасывая по сторонам встречных, бросился к яме.

— Митяй, держи! — встав на колени у края и спустив в форму поясной ремень, крикнул Афоня. Диков подпрыгнул и схватился за конец ремня. Шебаша с силой рванул его на себя, но тотчас же упал на землю, закрыв ладонями опаленное лицо.

Сплав, разбрасывая дождь огненных искр, подошел уже к краям желобов. Зноя его и не выдержал обожженный, ослепленный Шебаша. А Диков, поднятый было до половины ямы, снова упал на плитняк.

В этот миг раскаленный металл с гудением и ревом хлынул из желобов в форму. Страшный крик заживо горящего человека взметнулся из ямы...

После бури криков над двором повисла жуткая томительная тишина. Лишь желоба по-прежнему шумели, выплевывая без конца бурливую расплавленную массу.

Общее молчание прервал стук одиноких шагов. То Дебердеев убежал от формовой ямы по живому коридору молча расступившихся перед ним рабочих. Всегда красное, с жирным налетом лицо «самого» было теперь бело, как январский снег. А ненавидящие, обжигающие ярость взгляды рабочих составляли хозяина зябко запахивать полы длинной суконной сибирки...

Хозяйские хоромы, деревянный одноэтажный дом, выстроенный из кондового горного леса, живым частоколом окружила толпа рабочих людишек. Тут были все — и литейщики, и завальщики, и углежоги. Даже ребяташки-заслонщики шныряли между взрослыми. И лишь только отворилась дверь хозяйского дома, толпа рабочих подалась вперед.

Дебердеев, окруженный уставщиками, рядчиками, заводскими писцами, вышел на крыльцо. Быстрым, испытующим взглядом окинул он рабочих и крикнул небрежно и беззаботно:

— В чем дело, ребяташки? Почему работу бросили?

Возбужденно гудевшая толпа сразу смолкла. Сказался вековой, от предков унаследованный страх перед «самим», грозным и всесильным хозяином. Передние смущенно оглядывались назад, а задние нерешительно топтались на месте, виновато глядя в землю.

— Ну? Языки проглотили? — с вызовом уже бросил Дебердеев. — Что же вы не отвечаете?

— Не спеши, хозяин, ответим! — раздался спокойный голос, и Шебаша торопливо выцарапался к крыльцу.

— Насчет колокола мы, ваше степенство, — обернувшись, указал Афонька на поднятый уже из формы колокол, красневший на солнце своими медными боками. — Известились мы, што хошь ты его в Казань отправит. Не дело, хозяин. Грех! Ведь в нем Митька Диков смерть свою нашел. Могила эта его,

колокол-то! А потому должен ты расколоть его и в землю закопать, как подобает!

— Да колоток свечей на Митяев сорокоуст жертвуй. А жану его и детишек обеспечь! — осмелев, крикнул кто-то из толпы.

— Вот! Правильно! — качнул тяжелой головой Шебаша. — И ждем мы твоего ответа. Коль согласен колокол похоронить, сейчас же на работу станем, а нет...

— Молчать! — взвизгнул вдруг Дебердеев так, что рывшаяся у крыльца курица с испуганным квохтаньем ринулась в толпу. — Молчать, холуй!

Пока Шебаша говорил, Дебердеев, глядя на работных, думал: «Время сейчас бунтошное. Вор Емелька Пугач на Яике казаков против царицы поднял. Да што казаки, даже горные заводы «на низу» взбунтовались. Общая шатость в народе чувствуется. Скоро и мои чумазые засылку к бунтовщикам сделают. А потому должен я их в ежовые рукавицы немедленно взять. Коль сейчас не ошарашу их, тогда прощай все, от рук отобьются да еще и завод подожгут!..»

— Вы што это, бунтовать вздумали? — прямо с крыльца, минуя ступеньки, прыгнул Дебердеев в толпу работных. — Да я вас в бараний рог согну. Сок из вас потечет!

— Колокол захорони! Слышь? — загудела толпа.

— Не вам меня учить! — крикнул в ответ Дебердеев. — Указчики тоже! Колокол в Казань пойдет!

— Да ты што, бусурман?.. — заревели работные. — Насквозь просвечи-

вает, мироточит от святости, а поступает как черт преисподний!.. Хорони колокол!..

— Расходи-ись по местам! — орал, побагровев от натуги и поднимаясь на цыпочки, Дебердеев. — Становись на работу!

— Не будем работать.. По домам!.. А с тобой после поговорим!.. — крикнули работные, бросаясь к заводским воротам. И тотчас же остановились. Ворота заняла своя заводская стража, «кафтанники», лесные объездчики. хмурые лесовики в высоких волчьих шапках.

— Ребята! — выделился в общем негодующем гуле чей-то молодой, веселый голос. — Не пускают нас в ворота, вали через тын!

Послушная этому крику толпа бросилась к заводским валам и через минуту облепила высокий частокол.

Шебаша, бежавший в последних рядах, вдруг остановился и крикнул Дебердееву, растерянно глядевшему на бегство работных:

— Дай срок, купец, сочтемся! Вот уж Пугач всем вам покажет! А колокола тебе не видать как ушей своих, так и знай!.. •

* * *

Их было трое, лежавших на лужайке, поросшей щавелем и просвирником, трое дебердеевских работных: Афонька Шебаша, литейщик Пров Кукуев и углежог, по кличке Непея. Сквозь кусты орешника Непея, растянувшийся на животе, видел округлые очертания Чирьевой горы и серую ленту нового тракта, перекинувшегося через один из отрогов Чирьевой.

— Беспокоюсь я, — бубнил он под нос, — ладно ли было место-то для засады выбрали?

Шебаша озабоченно поднял голову. Его лицо, с опаленными ресницами и бровями, загоревшее, обветренное, потрескавшееся от жара плавающих печей, походило на черствую ржаную лепешку.

— Ничего, место усторожливое, — ответил Афонька. И, раздвинув рукой ветви орешника, обернулся к Непее: — Лучше места не найти!

Тракт, проходивший у них под ногами, прорываясь в этом месте меж скалами, одной обочиной своей испуганно прижался к Чирьевой горе, а с другого бока к нему вплотную подошли белые известковые обрывы — «иконостасы». У подножья их на тридцатисаженной глубине скакала по людям¹ Белая. И в этом опасном месте тракт был перегорожен завалом из вековых, необхватных пихт и обломков скал.

— Чуешь, какова штука? — удовлетворенно улыбнулся Шебаша. — Рази пройти им здесь? Застрянут, голову кладу! Перед завалом-то я тракт чесночком² посыпал. То-то запляшут их кони!

— А кто обоз-то охраняет? — спросил Пров Кукуев. — Наши, чай, кафтанники?

— Коли бы наши, с полгоря было! — угрюмо ответил Шебаша. — А то, вишь, узнал, подлец, што мимо уланы на кварталы идут, ну и

уломал маёра за взятку обоз сопровождать. Хитер, бес! Думал, што мы побоимся на цапицыно войско в драку лезть!

— Идут! Ей-бо, идут! — заорал вдруг Непея.

Шебаша вскочил и, встав во весь рост над кустами, взглянул на тракт. Из-за ближнего поворота выползала длинная, окутанная пылью змея. Зоркие глаза Шебаши различали желтые мундиры трех улан-разведчиков, ехавших впереди. За ними на мохноногом, горбоносом киргизе, устало завалясь в седле, ехал офицер. За ним с рокочущим шумом, похожим на раскаты отдаленного грома, двигалось что-то громадное и неуклюжее. То на специальном возке везли колокол, отлитый на Дебердеевском заводе. В возок было впряжено тридцать лошадей «гусем» по три в ряд. Остальные уланы конвойного эскадрона рассыпались желтыми точками и спереди и сзади возка с колоколом.

— Они, — сказал Шебаша, отводя от тракта напряженные, застланные слезами глаза. — Ну, трогай вниз, к ребятам.

Под горой, близ завала, шумным табором расположились остальные работные Дебердеевского завода, вооруженные чем попало: бердышами, медвежьими рогадинами, самодельными пиками и дубинами. Углежог махал страшными топорами на длинных ручках, ружьями было вооружено не больше десятка работных.

При появлении Шебаши и двух главарей смолкли разговоры, крики, песни.

— Едут! — сказал строго Шебаша. — Подтягивайтесь,

¹ Лудь — каменная мель.

² Чеснок — колючие железные шипы, которыми засыпались прежде татарские броды и перелазы на южных окраинах России.

ребята, к завалу да прячьтесь хорошенько. А как крикну — вылетай да наваливайся дружнее, скопом!

Из-под ладони Афонька взглянул еще раз на тракт. Передовые уланы-разведчики, заметив завал, галопом помчались обратно к командиру; офицер, вытащив из седельного кобура длинноствольный пистолет, осмотрел пули, порох, кремни и вместе с разведчиками поскакал к завалу.

— Ну, а я пойду гостей встречать! — озорно, по-мальчишески улыбнулся Шебаша. Надвинул покрепче на лоб рваную шапочку, выдернул из богатых, серебром украшенных ножен черкесскую саблю, оставшуюся от деда, разинского есаула, и смело прыгнул на завал...

— Кто это нагородил здесь? — крикнул офицер, предусмотрительно осадивший своего киргиза в десятке сажень от завала.

— Мы! — ответил Шебаша.

— Кто это вы? — брезгливо дернув бровью, спросил майор и начал осторожно поднимать пистолет.

— Ваше благородьичко, — просительно заговорил Шебаша, — мы, тоись дебердеевские людишки работные, до вашей милости с просьбою: отдайте нам колокол той, што в Казань-город вы везете. Товарищ наш, Диков Митяй, смерть в ем нашел свою, в славe сгорел. И желательнo нам в землю его зарыть, штоб схоронить покойничка честь-почестью.

— А больше вам ничего не желательно? — улыбнулся офицер недоброй улыбкой и крикнул свирепо: — Уйди

с дороги, холоп! По кандалам соскучил?

— Ишь ты как запел! — тоже скривился в злой улыбке Шебаша. — Вы, дворяне да заводчики, железные псы, заклевали нас, черную-то кость. Ну да ладно уж, разведемся коли-нибудь.

— Ах, падло, бунтовать? — Майор вскинул пистолет и спустил курок. Шебаша отшатнулся. Пуля взвизгнула где-то близко-близко, оторвав Афоньке мочку уха.

Выстрел офицера словно оживил кусты и скалы. Завал оцетинился пиками, рогами и бердышами сермяжников.

— Бей царицыно войско! — взмахнув саблей, первый прыгнул на тракт Шебаша.

Уланы, увидев, наконец, врага, дали залп из карабинов. Им нестройно ответили медвежачьи кремневки рабочих. Но перезарядить карабины уланы не успели. Пока продули дымные стволы, пока вытащили из гнезд шомпола, схватились за лядунки¹ — работные навалились.

— В сабли! — крикнул майор, бросая горячего своего киргиза в толпу. Уланы последовали за командиром, но лошади их, напоровшиеся на раскиданные рогульки, начали давать «свечки», подымаясь на дыбы и сбрасывая седоков. Работным, обувшимся в поршни из толстой кабаньей кожи, чеснок был не страшен. Вzbесившиеся кони метались из стороны в сторону, подставляя всадников под удары врагов. И закипел бой. Сотни людей, лязгая оружием, оглушая воздух яростными криками, тяжелым

¹ Лядунки — пороховницы.



клубком ворочались в тучах пыли, то подкатывались к обрыву, то снова жались к скалам Чирьевой горы.

Шебаша с первой же сшибки выбрал себе противником офицера. Но майор, видимо старый рубака, прижал Афоньку к скале. Тяжелый офицерский палаш сверкал стальной молнией, нанося короткие и быстрые удары. Шебаше казалось, что тысячи злых змеиных жал разом метят в него, стараясь укусить то в лицо, то в грудь, то в плечи. Отбивая с трудом палаш дедовской саблей, Афонька томился запоздалым сожалением:

«И на кой ляд я с этой чертовой саблехой связался? Сабля — дело господское! А мне бы чего-нибудь...»

И тут взгляд его упал на дубину, оброненную кем-то из работных, на молодой дубок, окованный в комле железом. Шебаша львиным прыжком метнулся к дубине, схватил, размахнулся широко и опустил тяжкий удар на врага. Афонька метил в кивер офицера и попал бы, если бы майор вовремя не подставил парирующий палаш. Дубина и палаш встретились. И победила дубина. В руке офицера остался один эфес, а клинок разлетелся вдребезги.



Рисунки П. ПАВЛИНОВА

Но все же удар Шебаши потерял свое первоначальное направление и вместо кивера офицера опустился на голову его коня. Иноходец взвился на дыбы, оскалив зубы. Затем прынул назад. Один только миг видел Шебаша две пары глаз, безумных, округлившихся от ужаса, — глаза человека и животного. А затем все пропало...

Шебаша бросил дубину и подошел к краю обрыва. Долгим взглядом проводил катящиеся вниз по скалам два тела — коня и всадника. Затем устало смахнул со лба пот и обернулся.

По тракту носился десяток,

не больше, солдат на взбесившихся лошадях. Работные ловили их и, прямо за пояса сдергивая с седел, бросали через головы на землю. Так бабы в жнитво, хватая за связло, перебрасывают за спину готовые снопы. И работные, дюжие парни, играючи «сажавшие» в печи четырехпудовые чугунные крицы, без труда, как бабы со снопами, расправлялись с уланами.

Остальные солдаты, уже обезоруженные, бледные и перепуганные, жались к завалу. Бой затихал...

* * *

...Савва вдруг смолк и молчал долго, следя рассеянным взглядом за пепельно-белыми, словно беличьими шкурки, облаками, повисшими на вершине Чирьевой горы.

— Ну, а дальше-то, дед? — не вытерпел я наконец.

— А дальше так дело было, — снова заговорил неторопливо Савва. — Как перебили дебердеевские рабочие царицыных солдат, так стали решать: а как с колоколом быть? Одни говорили — в землю потаенно зарыть, другие — в отработанный рудник сбросить. Много чего говорили. Но помирил всех Шебаша. «Купцы свое добро и в земле и в старой шахте отыщут. А вот ежели в Белой колокол потопить — никакая сила его со дна не подымет. Вечный покой в реке усопшему будет!» На том и решили. Подвезли повозку на руках к обрыву, цепи да канаты с колокола сняли и сбросили его с Чирьевой горы в реку. Загудел, говорят, колокол последним гудом, по скалам катясь, и пропал под водой. А упал он эвон в том мес-

те, — снова указал дед на омут, крутившийся под Чирьевой горой. — С той поры и пошло в народе прозвище «Колокольный омут». Вот так-то, с честью, схоронил друга своего закадычного Шебаша Афанасий свет Клементьевич!..

— Ишь, даже отчество Шебаша ты знаешь, — недоверчиво улыбнулся я. — Откуда у тебя такие подробности, а?

И тут же я вскопчил, вспомнил. Схватил, забывшись, деда за руку:

— А твоя-то, дед, как фамилия?

— Да ведь ты слышал уж, — хитро прищурился Савва. — Шебаша моя фамилия!

— Так, значит?

— Смекнул? — засмеялся дед. — А значит это, што той

Афанасий Шебаша, про коего я бывальщину тебе рассказывал, мне прадедом приходится. Он после того, как колокол в Белой утопил, со всей своей оравушкой на Дебердеевский завод повернул да и спалил его. А потом к Емеле Пугачу пристал. Только недолго гулял молодец. Под Казанью заарканил его полковник Михельсон. А как увидел ухо Афанасьево стреляное, обрадовался: «Матерый волк, меченый! Видать, бывал уж в наших руках!» И приказал он, много времени не тратя, здесь же на сосне повесить прадеда моего. И повесил! Тогда вся сила в их дворянских руках была, не то что теперь! У бар на расправу рука короткая, в пословице так и говорится: «Барского суда околицей не объедешь».

На 1-й стр. обложки — рисунок А. ГУСЕВА к повести Виктора Смирнова «Прерванный рейс».

На 2-й стр. обложки — рисунок Н. ГРИШИНА к рассказу Г. Гуревича «Восьминулевые».

На 3-й стр. обложки — рисунок П. ПАВЛИНОВА к рассказу М. Зуева-Ордынца «Колокольный омут».

Редакционная коллегия: А. Г. АДАМОВ, А. П. ДНЕПРОВ, А. П. КАЗАНЦЕВ, Н. И. КОРОТЕЕВ, А. А. НОДИЯ, Ю. Б. САВЕНКОВ, В. С. САПАРИН, Н. В. ТОМАН, В. М. ЧИЧКОВ.

Редакторы выпуска: О. СОКОЛОВ, В. ОСТРОУМОВ.

Художественный редактор А. ГУСЕВ

Технический редактор Р. ГРАЧЕВА

Рукописи не возвращаются.

Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Адрес редакции: Москва, А-30, Суцёвская, 21. Тел. Д 1-15-00, доб. 4-10.

Сдано в набор 25/V Подп. к печ. 28/VI 1967 г. А01261.
Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 5 (усл. 8,4). Уч.-изд. л. 10,5.
Тираж 300 000 экз. Цена 20 коп. Заказ 1032.

Типография изд-ва ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Суцёвская, 21.



ВОКРУГ СВЕТА

Журнал основан в 1861 году.

Научно-художественный
ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ
путешествий, приключений и фантастики

Цена 20 коп.

У Робера Вернье диплом археолога. Он один из немногих европейцев, которые знают Бокадель-Торо, район на границе Панамы и Коста-Рики, где сплошной покров тропических джунглей скрывает древние индейские захоронения. Профессия Вернье — грабитель могил...

О бизнесе грабителей древних сокровищ, о расхищении художественного наследия многих стран мира рассказывается в ближайших номерах «Вокруг света».



ФАНТАСТИКА ● ПРИКЛЮЧЕНИЯ